Магда Сабо

ДВЕРЬ

Магда Сабо

Дверь

Издательство «Синдбад»

1987

Сабо М.

Дверь / М. Сабо — Издательство «Синдбад», 1987

ISBN 978-5-00131-091-4

Героине редко снятся сны. Но если ей что-то снится, то всегда одно и то же. Она стоит на крыльце дома перед запертой дверью и пытается ее открыть, понимая, что там, внутри, человек, нуждающийся в ее помощи. Но ключа у нее нет, и ей остается только отчаянно колотить в дверь. Хорошо бы позвать на помощь, но голоса тоже нет, – героиня лишь беззвучно разевает рот и на этом просыпается. Это история странной дружбы известной писательницы с пожилой женщиной, которая помогает ей по хозяйству: убирает квартиру, стирает, готовит еду. Никто не знает точно, сколько Эмеренц лет. Она ни с кем не откровенничает и никого к себе не пускает. За многие десятилетия никто из соседей ни разу не переступал порог ее дома. Никто не знает о ее прошлом. Что за тайны хранит эта крепкая и сильная старуха? И как получается, что немногословная уборщица командует теми, на кого работает? Сцена за сценой и диалог за диалогом автор выстраивает сложнейший лабиринт взаимоотношений между двумя женщинами, которых, на первый взгляд, не объединяет ничего, но которые видят друг в друге нечто особенное, не заметное остальным.

ISBN 978-5-00131-091-4

© Сабо М., 1987
© Издательство «Синдбад», 1987

Содержание

Дверь 6
Договор 7
Христово семейство 14
Виола 19
Друзья и знакомые 26
Поднос муранского стекла 31
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Магда Сабо
Дверь

Magda Szabó
Az Ajtó
© Szabó Magda, 1987. All rights reserved
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2018.

Дверь

Мне редко что-нибудь снится. А если все-таки приснится – вскинусь вся в поту и упаду опять на подушку, дожидаясь, пока уймется сердце, размышляя о всесильной, необоримой магии ночи. В детстве и юности я никогда не видела снов – ни хороших, ни дурных, а под старость накатывают и накатывают волны прошлого, вынося его страшные пугающие сгустки. Потому они и страшны, что спрессованней, трагичней пережитого. Наяву ничего ведь со мной не случалось, отчего теперь я с воплем просыпаюсь.

Сны мои в точности повторяют друг друга. Собственно, это всегда один и тот же сон. Стою на нижней площадке у входной двери с толстыми непробиваемыми стеклами в железном решетчатом переплете, стараясь ее отпереть. Наружи, на улице – машина скорой помощи. Через стекло вижу зыблющиеся силуэты врача и сестер, их неестественно расплывающиеся лица в радужных ореолах, наподобие луны в тумане. Ключ поворачивается, но замок не открывается, хотя надо как можно скорее впустить их к больной, чтобы не опоздали. Дверь не поддается, несмотря на все мои усилия, будто намертво впаялась в железную раму. Зову на помощь, но никто не отзывается, ни с одного этажа: не слышат. Да и как услышать: мне ни звука не удается издать! Только рот разеваю, словно рыба, вытащенная из воды. Это уже верх ужаса в моем страшном сне: сознание, что не только дверь не повинуется мне, но и язык.

Будит меня обыкновенно мой собственный крик. Я зажигаю свет, пытаясь побороть удушье, которое мучает всегда после такого пробуждения. Вокруг – знакомая обстановка: спальня, семейный фотоиконостас на стене. Мои всевидящие, всепонимающие предки в тугих стоячих воротничках, в шитых серебром доломанах по моде венгерского барокко или бидермейера. Они одни могут засвидетельствовать, сколько раз по ночам сбегала я вниз отпирать, сколько раз думала, вслушиваясь в звуки, которые доносились с притихшей улицы, – шелест веток, шорох прошмыгнувшей кошки: а что как опять не сумею открыть, не поддастся замок?

Фотографии, они все знают, помнят – особенно то, что я больше всего хотела бы позабыть: случившееся уже не просто во сне. Как однажды, один-единственный раз, не в ночном обескровленном мозгу, а среди самого что ни на есть бела дня, дверь передо мной отворилась; дверь, которую, невзирая ни на что, даже на пожар, никому не открыла бы прятавшая там, за ней свою беспомощность, бедственное свое одиночество. Ключ от того замка доверен был только мне, владелица его полагалась на меня больше, чем на самого Господа Бога. А я в ту роковую минуту как раз и возомнила себя божеством: добрым, здравомыслящим, мудрым и предусмотрительным. Обе заблуждались: она, знавшая меня, и я, зазнавшаяся. Теперь-то, положим, уже все равно, прошлого не воротишь. Так что можете являться, вы, эринии[1], в косынках с красными крестами поверх своих трагических масок, в казенных текстильных ботинках на высоких, как котурны, каблуках; можете становиться в ряд у моей постели со своими карающими снами, этими своими обнаженными обоюдоострыми мечами. Каждый вечер гашу я свет, готовая к вашему приходу, – и, только засну, в ушах уже дребезжит звонок, при звуке которого непостижимый ужас гонит меня к нипочем не открывающимся дверям.

Вероисповедание мое не признает индивидуальной исповеди. Все мы, так или иначе преступая божественные заповеди, каемся в своих прегрешениях устами пастора и получаем отпущение, не вдаваясь в явные и тайные подробности. Но я хочу дать в них полный отчет.

Не Богу, который и без того прозревает мою душу, и не теням, немым свидетелям моих снов и каждого моего часа, а людям. Я не робела в жизни – и так же, не трепеща и не лукавя, надеюсь встретить и свою смерть. Но для этого прежде надо сказать всю правду: это я убила Эмеренц. И пусть хотела ее спасти, а не сгубить, это уже ничего не меняет.

---

[1] Эринии – богини мщения в древнегреческой мифологии.

Договор

Когда мы договаривались в первый раз, я все пыталась заглянуть ей в лицо, но она, к вящему моему смущению, избегала моего взгляда. Стояла передо мной неподвижно, как изваяние, но не выпрямясь, а слегка понурясь – даже лба почти не видно. Я тогда еще не знала, что без платка увижу ее лишь на смертном одре, а до тех пор неизменно будет ходить, точно ревностная католичка или еврейка в субботний день, которой вера запрещает приближаться к Господу с непокрытой головой. Было лето, совсем тепло, и она под лиловеющим закатным небом как-то не смотрелась в своем платке в саду, особенно среди роз. Каждого человека можно уподобить какому-нибудь цветку, и розы с их почти беззастенчивой карминной откровенностью были не той, не ее средой; роза – не целомудренный цветок. Что Эмеренц не такая, я почувствовала сразу, еще ничего о ней не зная.

Ее сдвинутый на лоб головной платок совершенно затенял глаза, гораздо позже я обнаружила, что они голубые. Неизвестно было и какие у нее волосы, но этого я так и не узнала, пока Эмеренц оставалась Эмеренц. Эти предвечерние минуты очень были важны для нас обеих: надо было решить, принимаем ли мы друг друга. Всего несколько недель, как мы обосновались с мужем на этой квартире, гораздо более просторной, чем прежняя. В той, однокомнатной, мне и не требовалась помощь, чтобы поддерживать порядок, тем более что моя застопорившаяся на десять лет писательская карьера[2] тогда только-только продолжилась. Теперь же, на новом месте, писательство опять стало главным моим занятием со всеми его открывшимися возможностями и бесчисленными, то приковывающими к столу, то гонящими из дома обязанностями. Вот почему я с этой молчаливой пожилой женщиной и стояла в палисаднике. К тому времени стало совершенно ясно: опубликовать наработанное за годы молчания и осуществить остальные замыслы вряд ли удастся, если на кого-нибудь не переложить домашнее хозяйство.

И едва мы сюда перебрались со своей необъятной библиотекой и еле вынесшей переезд ветхой мебелью, как я тотчас взялась подыскивать себе помощницу. Разузнавала у всех кругом, пока наконец одна моя бывшая соученица не сняла с нас этой заботы. Есть, мол, одна женщина, которая вот уже много лет ведет хозяйство у ее сестры, пожилая, но любой молодой стоит. Вот ее можно спокойно рекомендовать, выкроила бы только для нас время. Полная гарантия, что ни мужчин не будет водить, ни курить, дом не спалит и не унесет ничего. Скорее сама принесет, если ей у вас приглянется: страстная охотница дарить. Незамужняя и замужем не была, детей тоже нет, только племянник регулярно ее навещает да какой-то полицейский офицер; всеобщей любовью пользуется в округе. Словом, тепло, уважительно отозвалась о ней, добавив: Эмеренц еще и консьержка, лицо почти официальное, и в заключение выразила надежду, что и мы ей понравимся, а если уж нет – ни за какие деньги не пойдет.

Начало нашего знакомства было, однако, не очень обнадеживающим. Просьбу мою заглянуть к нам при случае и переговорить Эмеренц встретила довольно нелюбезно. Нашла я ее во дворе того самого дома, где она жила в качестве привратницы, поблизости от нас. Дом ее даже виден был с нашего балкона. Она как раз затеяла большую стирку, совсем на допотопный манер: в эту и без того палящую жару кипятила на открытом огне белье в большом чане, приподымая паркие простыни длинной деревянной веселкой. Пламя озаряло всю ее высокую, крепкую еще, несмотря на возраст, фигуру. Полной ее нельзя было назвать, скорее была она широкая в кости, рослая и мощная, как валькирия, и платок увенчивал голову, что твой шишак. Зайти к нам она согласилась, и вот мы стоим с ней под вечер в саду. Пока она молча слушает мои объяснения, что́ ей придется у нас делать, мне другое приходит на ум: никогда я не могла принять сравнение лица с озером, встречающееся у романистов прошлого века. И вот

[2] Автобиографический намек: длительное время Магду Сабо не печатали как неугодную режиму Ракоши.

в который раз посрамлена в своем недоверии к классикам. Лицо Эмеренц если с чем и можно сравнить, так именно с невозмутимой, незыблемой предутренней водной гладью.

Трудно было понять, насколько ее устраивает мое предложение: ни в месте, ни в деньгах она не нуждалась и всей своей безмолвной позой словно давала понять, что это мне страшно важно ее заполучить. Она даже ответ мне дала, не подымая глаз, и на бесстрастной глади ее будто клобуком затененного лица ничего не отразилось. Дескать, мы еще к этому вернемся, пока трудно сказать. Вот одно из мест, где она работает, ей не по душе: муж и жена пьющие, взрослый сын совсем отбился от рук, родителям не помогает. Может, и у нас буянят, пьют… вот если кто заверит, что это не так, можно будет подумать.

– Я кого попало не обстирываю, – со всей серьезностью заявила она своим высоким голосом.

Я слушала в тупом удивлении. Впервые кому-то понадобилось поручительство за нас.

Эмеренц, видимо, давно попала в столицу, потому что лишь мое лингвистическое образование позволило мне угадать по ее произношению, что она откуда-то из моих родных мест. Не с Хайдушага[3] ли, полюбопытствовала я, думая обрадовать ее таким вопросом, но Эмеренц только кивнула: да, из Надори; вернее, из смежной деревни, Чабадуля; но тут же переменила тему, показывая, что не имеет ни малейшего желания об этом распространяться, слишком-де навязчив, неуместен мой интерес. Несловоохотливость ее, как и многое другое, вполне обнаружилась, впрочем, гораздо позже, с годами. Гераклита[4] Эмеренц не изучала, но оказалась поопытнее меня, которая не упускала случая побывать в городе своей юности: устремиться в поисках ушедшего, невозвратного под сень прежних улиц, давнего домашнего очага – и не найти, конечно, ничего. Река былого – где она катила теперь свои воды, увлекая за собой черепки и моей прошлой жизни? Эмеренц была достаточно мудра, чтобы не гнаться за несбыточным. Она свои уцелевшие силы сберегала, чтобы, насколько возможно, сохранить себя для настоящего. Но понимание всего этого пришло ко мне не скоро, оставалось пока в туманном далеке.

Тогда же, впервые услышав два этих названия – Надори и Чабадуль, я только почувствовала, что лучше этого не касаться, тут какое-то табу. Ну что ж, поговорим, коли так, о вещах более конкретных. И я предложила условиться о плате, подумав, что для нее это существеннее: но она и слышать не захотела, сказав, что решит, когда составит себе представление, насколько мы опрятны и аккуратны – какая потребуется работа. Попробует сначала порасспросить – не мою подругу, конечно, она лицо слишком заинтересованное; а уж после зайдет, даже если отзывы окажутся неблагоприятными. Я на минуту заколебалась, глядя ей вслед: старуха явно с причудами; не стоит, пожалуй, и нанимать, лучше будет для нас обеих. Еще не поздно крикнуть: не надо, мол. Я не крикнула. И какую-нибудь неделю спустя Эмеренц опять явилась. Мы, правда, и перед тем встречались на улице, но она только поздоровается и мимо, как бы не желая торопить события; ни навязываться, ни отступать прежде времени. Выйдя на звонок и увидев ее, одетую по-праздничному: в красивом черном шерстяном платье с длинными рукавами, в лакированных туфлях с пряжками, – я сразу поняла, что это должно значить, и провела ее в комнаты в полном замешательстве от своего более чем легкого летнего наряда. Будто продолжая только что прерванный разговор, но не сводя взгляда с моих голых плеч, Эмеренц сообщила, что с завтрашнего дня приступает к работе – и к концу месяца сможет сказать, сколько ей платить. Я уж и тому рада была, что хоть муж в жилете и при галстуке, его, по крайней мере, не в чем упрекнуть. Он и в тридцатиградусную жару не изменял своим приобретенным еще в Англии довоенным привычкам. Рядом с ними я выглядела представительницей какого-то

[3] Хайдушаг – восточная равнинная часть Венгрии.

[4] В основе философского учения Гераклита Эфесского (конец VI – начало V в. до н. э.) лежала идея непрерывного изменения (его известный афоризм: «нельзя дважды войти в одну и ту же реку»).

более примитивного, малоразвитого племени, которой они, будто по обоюдному соглашению, желали показать, как приличествует держаться и одеваться человеку цивилизованному. Да, уж если кто походил на Эмеренц по части соблюдения принятых норм, так это мой муж. Может, потому и не могли они долго сблизиться по-настоящему друг с дружкой.

Эмеренц подала руку ему, потом мне, хотя по возможности избегала рукопожатий. Бывало, протяну ей руку, а она отстранит нетерпеливым движением, будто отгоняя муху. Но в тот вечер не мы ее «нанимали», это было бы против ее правил, а она с нами ударила по рукам. И, уходя, пожелала доброй ночи «хозяину». Тот только посмотрел недоумевающе ей вслед: трудно было бы на целом свете найти кого-нибудь, к кому так не подходило это прекрасное в общем слово. Немало времени прошло, прежде чем он, несколько привыкнув к новому своему прозванию, стал на него откликаться, хотя иначе она никогда к нему и не обращалась.

Соглашение наше не устанавливало продолжительности ее рабочего дня, равно как точного времени прихода и ухода. Иногда мы целый день ее не видели, только в одиннадцать вечера заявится; но тогда уж, не заглядывая к нам в комнаты, до рассвета будет прибираться на кухне и в чулане. Или на полтора суток лишит нас душа, замочив в ванне ковры. Непредсказуемые ее появления отличались зато редкостной производительностью. Старуха двигалась безостановочно, как робот, не щадя себя ворочала неподъемную мебель – нечто сверхчеловеческое чудилось в ее почти устрашающей силе и работоспособности, тем более что и не было прямой нужды брать столько на себя. Видимо, в работе находила она единственное удовлетворение и, не умея ничем иным занять себя в свободные часы, отдавалась ей целиком. И все, что ни делала, снуя по квартире, выполняла она безукоризненно – и по большей части молча. Не только что не болтая или приставая, но прямо-таки избегая лишних слов. Эмеренц оказалась требовательнее, чем я ожидала. С нас спрос был велик; но велика была и отдача. Если ждали гостей или неожиданно приходил кто-то, она неизменно предлагала свои услуги, которые я, правда, большей частью отклоняла, не желая в нашем дружеском кругу выдавать, что я в собственном доме не хозяйка. Ибо хозяином в глазах Эмеренц слыл только муж; меня же она вообще никак не называла: ни «сударыней», ни «госпожой писательницей» – не могла найти подходящего обращения, пока окончательно не определила для себя, кто я, какое место занимаю в жизни. И понятно: без ясного представления не может быть и точного обозначения.

Эмеренц являла собой пример совершенства решительно во всем, иногда, к сожалению, просто-таки подавляя меня своим абсолютным превосходством и отвергая все мои робкие попытки поблагодарить, недвусмысленно давая понять: не нуждаюсь ни в каком одобрении. Нечего, мол, ее хвалить, сама прекрасно отдает себе отчет в своих достоинствах. Ходила всегда в вылинявшем будничном платье, на работе надевая передник; в черном – только в исключительных случаях и по праздникам. Бумажных носовых платков не любила, употребляя туго, до хруста накрахмаленные полотняные. И я была донельзя счастлива, сделав открытие, что и у нее свои слабости есть. Например, без всякой видимой причины впадет вдруг во мрак, часами не отвечая ни на какие вопросы. А при первом ударе грома и вспышках молнии бросала все и без всяких объяснений бежала домой: страшно боялась грозы.

– Старая дева, не может без причуд, – делилась я с мужем.

– Это не причуда, это что-то другое, – качал он головой. – Напугана, как видно, на всю жизнь; только не говорит чем. Считает, что нас это не касается. Ведь мы о ней и не знаем толком ничего. Разве она хоть что-нибудь рассказывала о себе? Вспомни-ка. Эмеренц – не из болтливых.

Больше года она уже проработала у нас, когда пришлось однажды попросить ее получить за меня посылку, которую должны были доставить. Муж занят был, принимал экзамены, меня только в тот день мог принять зубной врач. Я прикнопила к двери записку для рассыльного,

куда и кому в наше отсутствие отнести посылку, и побежала к Эмеренц, позабыв ей сказать, пока она у нас убирала. Она только что ушла, нескольких минут не прошло. Постучалась к ней – никакого ответа, хотя за дверью слышно было какое-то копошение. Ничего удивительного, впрочем: дверь у нее всегда бывала закрыта, к этому все привыкли. Не успеешь «Отче наш» прочесть после ее ухода, уже запрется у себя на все запоры. Я крикнула: откройте, мол, спешу очень, хочу вам что-то поручить. Ответом было по-прежнему молчание. Но стоило сильнее подергать за дверную ручку, как Эмеренц выскочила – с таким видом, будто вот-вот меня ударит. Захлопнула за собой дверь да еще прикрикнула: что это я ее беспокою в нерабочее время, не было такого уговора! Я стояла вся красная от этого незаслуженного крика. Уж если она по какой-то неведомой причине оскорблена тем, что дерзнули вторгнуться в ее территориальные воды, могла бы и потише объясниться. Запинаясь, выдавила я свою просьбу. Она ждала, глядя на меня в упор такими глазами, точно я сейчас всажу в нее нож. Ну хорошо. Нет так нет. С кратким «до свиданья» я повернулась и пошла, отзвонила врачу и после ухода мужа осталась ждать рассыльного, не находя себе ни места, ни занятия. Даже чтение не помогало. Одно вертелось на уме: что я такого сделала, какую неловкость допустила? Откуда этот страстный, вызывающе враждебный тон, совсем не свойственный ей, обычно такой сдержанной, почти сухо официальной?..

Муж в обычное свое время не вернулся, остался после экзамена с классом, и в довершение всего посылку вообще не принесли. Я долго прождала одна и как раз перелистывала какой-то альбом с репродукциями, когда раздался звук поворачиваемого в двери ключа. Но привычных приветственных слов, которые возвещали о приходе мужа, не последовало. Это была Эмеренц, видеть которую в этот малоприятный вечер я вовсе не жаждала. «Ус пела, значит, поостыть. Пришла теперь прощения просить», – подумала я. Но она, не заглянув ко мне, повозилась на кухне и без единого слова удалилась, щелкнув замком. По возвращении мужа я вышла на кухню за нашим всегдашним ужином – кефиром – и обнаружила в холодильнике блюдо с поджаренными цыплячьими грудками, которые были предварительно нарезаны – и с высокопрофессиональной, прямо-таки хирургической тщательностью вновь составлены из ломтиков. На другой день хотела я возвратить вымытое блюдо – с благодарностью за примирительное подношение. Но она не только никакого «пожалуйста» или «на доброе здоровье» не сказала, но и само блюдо отказалась взять. Так оно до сих пор у меня. А когда много позже я по телефону стала домогаться, где же обещанная посылка, из-за которой пришлось бесполезно проторчать дома целых полдня, обнаружилось, что она в чулане под нижней полкой! Эмеренц принесла ее вместе с цыпленком, продежурив перед тем у ворот до прихода рассыльного и передав в точности мое поручение. Положила – и удалилась молчком. Это происшествие послужило для нас важным предупреждением, и я после не раз себе напоминала: Эмеренц немножко того, надо считаться со своеобразным складом ее ума.

В этом меня еще больше укрепили разные слухи; особенно – услышанное от одного из жильцов ее дома, налогового инспектора, который на досуге занимался еще и разными поделками, слывя у соседей толковым умельцем, мастером на все руки. По его рассказу, сколько он там ни живет, побывать у Эмеренц еще никому не удавалось; дальше площадки перед дверью она никого не пускает и сердится, если ее неожиданно вызовут за чем-нибудь. Кошку свою тоже не выпускает, держит взаперти. Слышно иногда мяуканье из-под двери; но внутрь не заглянешь. Даже на окнах ставни, которые она никогда не открывает. Кто ее знает, что уж у нее там, в квартире, какие ценности, кроме кошки, только закрываться вот так – не лучший, во всяком случае, способ их хранить, как раз и может навести на подозрения. Возьмут еще да и убьют в один прекрасный день… Далеко никуда не уходит, разве кого из знакомых проводит в последний путь; но и с похорон летит стремглав домой, будто опасность какую предотвратить.

Так что не надо особо обижаться, если не пускает; она вон и собственного племянника, Йожи, сына ее младшего брата, и того подполковника, в холле перед дверью принимает – и летом, и зимой. Те уже давно усвоили, что дальше им тоже хода нет, и только посмеиваются; привыкли.

Составлялся довольно мрачноватый портрет, и мне только еще больше стало не по себе от этого рассказа. Как это можно вынести такое затворничество?.. И если уж кошку держать, почему же совсем не выпускать бедное животное?.. Там ведь у них огороженный палисадник. И я продолжала считать Эмеренц не вполне нормальной, пока не услышала от ее преданной обожательницы, вдовы одного лаборанта, Адельки, целую эпически обстоятельную историю. Оказывается, самая-самая первая кошка Эмеренц, ярая охотница, сильно поубавила когда-то число голубей у одного разводившего их жильца, который в войну переехал к ним в дом. И он взял и радикальнейшим образом это пресек. Когда Эмеренц стала объяснять, что кошки – не университетские профессора, слов красивых не понимают и даже сытые будут охотиться, такой уж, к сожалению, нрав у них, он без дальних разговоров, даже не попросив держать неугомонную охотницу дома, поймал ее и повесил прямо у хозяйки на двери. И еще форменную нотацию прочел Эмеренц, замершей по возвращении у окоченевшего трупа. Вынужден, мол, своими средствами положить конец покушениям на единственный гарантированный источник дохода и пропитания для семьи.

Молча вынула Эмеренц кошку из проволочной петли – он, душегуб, не веревкой, а проволокой удавил ее (ужасное зрелище – этот труп с разинутой пастью!) – и закопала в палисаднике; но, как на грех, прямо в свежей еще могиле г-на Слоки, которого не успели перезахоронить. Ее из-за этого даже в полицию вызывали, кошкодав донес; но, к счастью, замяли дело. Все эти меры не пошли, однако, голубятнику впрок. С Эмеренц ему так и не удалось разругаться по-настоящему, та его просто перестала замечать и по домовым, жилищным надобностям сносилась с ним через мастера-умельца, как через парламентера. Голубей же словно какая-то зловещая солидарность потянула за собой: один за другим стали дохнуть. Опять явилась полиция: теперешний подполковник, который навещает Эмеренц, тогда еще младший лейтенант. Владелец голубей обвинил ее, будто она их травит. Вскрытие, однако, этого не подтвердило, никакой отравы в желудках птиц не нашли. Районный ветврач установил, что гибнут они от какого-то неизвестного вируса, так что нечего зря беспокоить соседей и власти.

И тогда весь дом восстал против кошачьего палача. Муж и жена Бродаричи, самые уважаемые жильцы, подали в совет жалобу на то, что постоянное воркование не дает спать по утрам; умелец заявил, что голуби весь балкон ему загадили; инженерша – что у нее из-за них аллергия. Все жаждали серьезного наказания, настоящей кары за повешенную кошку. Но совет, к общему разочарованию, ограничился лишь строгим предупреждением голубятнику вместо того, чтобы обязать распустить свою стаю.

Однако не замедлила и кара. На вновь приобретенных голубей напал тот же загадочный вирус. Голубятник опять попытал удачи в полиции. Но на этот раз вместо экспертизы младший лейтенант просто крепко его отругал: мы, мол, и так заняты по горло, не до ваших кляуз дурацких. И тот наконец сделал для себя вывод: предал Эмеренц через дверь вечному проклятию и, расправясь напоследок – уже тайком – с ее новой кошкой, вымелся со своими голубями в зеленую пригородную зону. Но и после все донимал оттуда Эмеренц анонимными поклепами. Она же с таким здравым незлобивым юмором воспринимала его подвохи, что и совет, и полицию к себе расположила. Там привыкли, что ее персона особенно притягательна для кляузников, как вон для молний – магнитная гора, и не давали наветам хода. Все, вплоть до начинающих инспекторов, просто складывали, махнув рукой, в досье одну анонимку за другой, сразу, по излюбленным словечкам, кудряво-обстоятельной манере изъясняться, узнавая голубятника. Изредка кто-нибудь и заглянет к ней, но просто так, кофе выпить, поболтать. А быстро повышаемый в звании подполковник – тот прямо повадился в гости к ней ходить. И когда назначат к ним в отделение новенького, тут же приведут познакомить; она поджарит колбасы, блинчи-

ков напечет или пышечек соленых, кто что любит; расспросит, если тот из провинции, про его деревню, деда-бабку, про оставленную семью. Они уж и не передавали ей всего, что писали на нее, зачем попусту раздражать: что евреев якобы вылавливала и выдавала в войну, а сейчас тайный передатчик прячет, шпионские сведения американцам передает – и вдобавок скупает и укрывает краденое. Собственно, только после Аделькиного рассказа я успокоилась. И уж окончательно, когда – из-за потерянного удостоверения личности – пришлось зайти в полицию. Мимо как раз проходил подполковник и, услыхав имя и адрес, которые я диктовала, предложил посидеть у него, пока заполняется новое удостоверение. Я думала, с книгами моими знаком, поэтому так предупредителен, но ошиблась. Его интересовала только Эмеренц: она ведь, кажется, теперь у вас работает; как поживает, что поделывает? И как там дочка ее племянника (о существовании которой я и понятия не имела), вернулась ли из больницы домой?..

Наверное, поначалу я просто боялась Эмеренц. Больше двадцати лет пользовались мы ее услугами, но в первые пять не требовалось никаких особо точных инструментов, чтобы измерить расстояние, на которое она подпускала нас к себе. Я легко схожусь с людьми, охотно вступаю в разговор даже с незнакомыми. Эмеренц же хорошо, если два слова проронит, и то самых необходимых. Вечно ей некогда, обязательно у нее, поглощенной своей прямой, на совесть исполняемой работой, найдутся и другие планы и дела, которые занимали весь ее день без остатка. К ней на площадку, как на телекс, стекались все новости, обо всем узнавала она первая, даром что никого не пускала за порог: о скандалах и смертях, о катастрофах и радостных событиях. Особое удовлетворение доставляло ей ходить за больными. Чуть не каждый день попадалась она мне на улице с большой миской под крышкой; я сразу понимала: еду кому-то несет, о ком толкуют, что совсем без сил, хорошо бы подкормить. Непременно приметит, где в ней нужда. Что-то такое от нее исходило, располагавшее к откровенности, и с ней делились, даже не рассчитывая на взаимность; зная, что ничего, кроме уже известного или банальных общих мест не получат в ответ. Политикой она не интересовалась, искусством и того меньше, в спорте не разбиралась – и сплетни о супружеских изменах выслушивала, воздерживаясь от собственных суждений. Охотнее всего обсуждала виды на погоду, поскольку ее отлучки на кладбище впрямую зависели от того, не соберется ли гроза, чего она, как сказано, боялась смертельно.

Погода, впрочем, не только влияла на эти, так сказать, общественные обязанности. Она определяла и все ее осенне-зимнее времяпрепровождение. Ибо тут уже ее прямым врагом становились осадки. Снег она бралась убирать, например, почти по всей улице; даже последние известия послушать не оставалось времени, разве что поздно ночью или ранним утром. Погоду, правда, можно было узнавать и по звездам. Она их отлично знала, многие даже по названиям, слышанным от стариков. Блеск их, яркий или притуманенный, позволял ей угадывать даже такие природные изменения, которые не всегда успевал предсказать и метеопрогноз. Перед целыми одиннадцатью домами подряжалась она чистить тротуары и, выходя на уборку, преображалась до неузнаваемости. Вместо начищенных до блеска туфель – резиновые сапоги и на самой навернуто все, что только можно; прямо как огромная тряпичная кукла. В снежные зимы она, казалось, вообще днюет и ночует на улице, совсем не ложась, как прочие смертные. Так оно, собственно, и было, такой предмет обстановки, как кровать, у нее, в сущности, отсутствовал. Умывшись, переодевшись, присядет просто на крохотное канапе, прозываемое «гнездышком влюбленных». Так и дремлет: мол, только в сидячем положении отдыхает – и спина ныть перестает. А лежа сразу нападает слабость и начинает кружиться голова.

Конечно, в сильный снегопад и сидя не удавалось отдохнуть. Пока до четвертого дома расчистишь тротуар, у первого опять занесет. Так и перебегала Эмеренц туда-сюда в своих непомерно больших сапогах и с метлой выше ее роста. Мы уже привыкли, что в такие дни она к нам не заглядывает, и я не делала ей замечаний, какой смысл. Все равно она возразила бы на

это: крыша есть над головой, вот и подождете, пока освобожусь; всегда честь по чести убираю, небось успею наверстать. А пока вам и самой не вредно бы поразмяться. Что тут возразишь?! И едва прекратится снег, Эмеренц опять тут как тут. Приведет квартиру в образцовый порядок и без всяких объяснений оставит на кухонном столе какое-нибудь жаркое или целый противень медовых пряников. Подношение, которое (как и тот искусно приготовленный цыпленок после ее непонятной грубости) словно гласило: вот вам за терпение, примерное поведение; будто мы еще дети и диету оба не соблюдаем.

Не знаю, как уж она успевала все, но только без дела не сидела никогда. Не подметает, так с миской своей к кому-то поспешает. Или хозяина потерявшейся собаки разыскивает, а не удастся – еще куда-нибудь пристроит найденыша. Так или иначе, кошки, собаки, слонявшиеся в поисках пищи среди мусорных баков, вдруг куда-то исчезали, и больше их уже поблизости не видели. Работала она много, сразу в нескольких местах, и зарабатывала немало, но чаевых никогда ни в какой форме не принимала. Это еще было доступно моему пониманию, но почему от подарков отказывается? Вот чего я никак не могла себе объяснить. Дарить старуха предпочитала сама и всякие презенты – не с улыбкой даже, а с раздражением – отклоняла. Сколько лет возобновляла я свои попытки в надежде, вдруг да смягчится на этот раз, но натыкалась на грубый отказ: обойдусь, мол, без ваших подачек. Оскорбленная до глубины души, прятала я конверт… а муж еще и потешался надо мной: чего ты за ней ухаживаешь, какая есть, такая и есть, не переменишь. И его вполне, дескать, устраивает. Пускай себе в нарушение всех правил появляется и исчезает, как тень, в самый неподходящий момент, зато все, что нужно, сделает, даже не присев, чашки кофе не выпив. Прислуга идеальная! И ты уж на себя пеняй, если тебе этого мало, если еще духовного общения ищешь.

Мне и в самом деле трудно было освоиться с мыслью, что Эмеренц в нас не нуждается. Отвергает близость с нами, как со всеми прочими.

Христово семейство

Годы целые так себя вела. Но когда муж опасно заболел, все-таки переменилась.

Видя, что все происходящее в доме мало ее занимает, я и не говорила ей ничего, не открывала правды, твердо убежденная: даже если посвящу в наши переживания, участие ее ограничится той же благотворительной миской. И на операцию проводила мужа, у которого нашли абсцесс в легких, никем не замеченная; ни она, ни соседи не подозревали, куда мы направились. Предварительное обследование прошел он тоже без ее ведома. Словом, Эмеренц понятия не имела, что происходит. Операция длилась почти шесть часов, и кому приходилось в томительном ожидании сиживать у дверей операционной, глядя на сигнальную лампочку вверху и готовясь уже к самому худшему, тот легко может себе представить, в каком я вернулась состоянии. Эмеренц я застала в кресле за чисткой разложенных на коленях серебряных ложечек и кратко, без подробностей сообщила об операции в ответ на ее взгляд. Впервые за все время почувствовала она себя как бы обойденной, о чем – не с обидой, а с возмущением – не преминула сообщить. Как? Отстранить, словно чужачку, постороннюю, от этого важнейшего события нашей жизни?.. Не разделить с ней своих страхов, опасений неблагополучного – быть может, смертельного – исхода?.. Я возразила, что до сих пор она, по-моему, нашей жизнью не очень интересовалась. Откуда мне было знать, что ее может так затронуть предстоящее? И вообще пусть не обижается, если я попрошу оставить меня одну: день был тяжелый, неизвестно, что еще ждет завтра, хочу пораньше лечь. Эмеренц сейчас же ушла, и я подумала: ну все; оскорбилась, больше не придет. Но спустя полчаса меня из смутного неглубокого забытья вывело какое-то хождение по квартире, и на пороге комнаты выросла Эмеренц с дымящимся бокалом на жестяном подносе.

Это было настоящее художественное изделие – этот бокал из толстой синей смальты с вырезанным на стенке овальным венком. Две руки, мужская и женская – мужская в кружевном обшлаге, женская с браслетом – с обеих сторон поддерживали в этом овале золотую пластинку с надписью синей эмалью: *«Toujours»*[5]. Я взяла бокал за литое основание, поднесла к свету: горячая темная жидкость была в нем, с гвоздичным ароматом.

– Выпейте, – сказала Эмеренц, хотя мне было совсем не до того. Единственное, чего хотелось, – это покоя. – Выпейте! – повторила она, словно непонятливому тугодуму-ребенку.

И, видя, что я ставлю бокал обратно, сама схватила его и поднесла к моим губам, отведя по дороге мою руку и плеснув горячим мне за ворот, так что я даже вскрикнула.

Пришлось проглотить, чтобы все на меня не вылилось. Это был обжигающе-горячий, но восхитительнейший напиток, и в пять минут вся моя дрожь прошла. Первый раз за все время подсела Эмеренц ко мне на кушетку и, отобрав пустой бокал, осталась сидеть, словно приглашая меня выговориться, рассказать о пережитом, перечувствованном за шесть часов отсутствия. Но я и двух слов связать была не в силах, не то что воспроизвести весь ужас случившегося и предшествовавшего ему. Да и выпитый залпом глинтвейн оказал свое действие, и меня сморил сон – судя по тому, что на часах было уже два часа пополуночи, когда я опять очнулась. Лампа по-прежнему горела, и Эмеренц сидела тут же, но я была уже прикрыта летним одеяльцем, вытащенным, по всей видимости, из моей постели. Обыкновенным будничным голосом сказала она, что надо выкинуть все дурные мысли из головы и спать спокойно, так как все покамест хорошо. Была бы опасность – она обязательно почувствовала бы: смерть она всегда предчувствует. Да и собаки не воют, и стакан не лопнул нигде – ни на кухне, ни дома у нее. Конечно, я вправе ей не верить, и, если вместо нее с Богом хочу побеседовать, пожалуйста, может Библию принести.

---

[5] Навсегда, навеки (*фр.*).

Не глинтвейн и даже не то запомнилось мне, что она всю ночь просидела тогда со мной, а эта вот насмешка. Опять не преминула меня подколоть. Мало ей, что я и так делаю крюк, идя по воскресеньям в церковь, лишь бы не нарваться на ее ехидное замечание? Не могу же я объяснять ей, не желающей ничего понимать, что для меня значит богослужение, сколько незримых теней на церковных скамьях рядом со мной – теней всех, кто вот так же веками молился?.. Что этот час в церкви – единственная возможность увидеться опять с покойными матерью и отцом?.. Ничего этого Эмеренц все равно не примет, не поймет. Она вроде дикаря, который при виде мирного крестного хода с хоругвями тотчас принимается размахивать своим боевым стягом. Таким боевым стягом служило Эмеренц ее вечернее платье с блестками.

С достойной чуть не шестнадцатого века страстью воевала старуха не только с церковью, попами, но и самим Господом Богом и всеми библейскими персонажами, исключая разве Иосифа Святого, которого чтила за его ремесло: отец Эмеренц тоже был плотником. И, повидав ее родительский дом, что величаво высился за забором, напоминая своей наружной галереей с массивными столбами-колоннами и двухступенчатой крышей не то представительные крестьянские хоромы в стиле барокко[6], не то дальневосточную пагоду, можно было составить себе некоторое представление о вкусах и характере покойного Йожефа Середаша. А построенный им по собственноручному плану, окруженный клумбами и «пегими», по выражению Эмеренц, платанами, которые успели к моему посещению стать могучими исполинами, дом оставался импозантнейшим строением в Надори, служа столярной и плотницкой мастерской тамошнему кооперативу. Однако в сбивавшем меня с толку вольтерьянстве Эмеренц я не находила никакой логики, прямой причинной связи со всем этим, пока – с помощью другой уже приближенной Эмеренц, зеленщицы Шуту – не обнаружились кое-какие психологические опоры и не вырос целостный сюжет.

Разлад ее с церковью был не каким-либо следствием пережитой осады[7], последним отзвуком войны и первым плодом мира – философических, так сказать, раздумий о будущем на обугленных руинах прошлого. Это была самая заурядная примитивная месть за посылку, которую ее приход получил от скандинавской епархии в рамках какой-то благотворительной акции. О вероисповедании Эмеренц никто до тех пор всерьез не дознавался, и в церкви ее не видели; всегда она была занята, особенно вначале, когда подряжалась еще и стирать – главную стирку, с кипячением, устраивая как раз по воскресеньям. Все – в церковь, а она разведет огонь, нагреет котел и давай мылить белье. Однако известие, что церковная община получила дар от дальних единоверцев, дошло и до нее: одна ее знакомая, Полетт, прибежала с этой новостью. И когда началось распределение вещей, Эмеренц, до того ни разу не посетившая храма, вдруг появилась в черном среди собравшихся. Из ближайших домов ее все знали; но включить в число получательниц никому не пришло в голову. И дамы, руководившие раздачей в присутствии представителей шведской миссии, лишь в замешательстве озирались на долговязую фигуру, ожидающую с каменным лицом своей очереди.

Они, конечно, сообразили, что она, по всей вероятности, из того же прихода, хотя и не бывала в церкви; но все шерстяные костюмы и платья к тому времени кончились. На дне корзины остались одни выходные вечерние, которые отобрала из своих уже ненужных какая-нибудь шведская доброхотка, не очень задумываясь о здешних условиях. Отпускать ни с чем прихожанку им, однако, не хотелось. Подумали, отнесет полученное платье куда-нибудь в театр, дом культуры продать или выменяет на него съестное. Ни у кого и в мыслях не было посмеяться над ней, как это восприняла Эмеренц, которая швырнула платье под ноги даме-распорядительнице – и с той поры закаялась ходить в церковь, носа больше не казала туда –

[6] Стиль этого направления в искусстве конца XVI – середины XVIII в. отличался некоторой вычурностью.

[7] Подразумевается осада советскими войсками (1944) оккупированного немцами Будапешта.

не только из-за работы, но даже в выдававшиеся свободные часы. Бог и церковь сомкнулись в ее сознании с этими благотворительницами, и она не упускала уже случая послать ядовитую стрелу в стан молящихся, не щадя и меня, если доведется застать выходящей из дома за полчаса до воскресной службы с псалтырью в руках.

Не зная еще этой истории, я в первую такую встречу с невинным, неискушенным видом даже осведомилась, не хочет ли она пойти со мной. Эмеренц вскинулась: она не какая-нибудь этакая барыня-сударыня, чтобы намазанной-накрашенной в церковь спешить – себя показать; ей еще перед домом надо подмести. Да она и без того не пошла бы! С недоумением воззрилась я на нее: как это она, проводящая жизнь в трудах и заботах о ближних, если на кого и похожая, так на библейскую Марфу, ее духовная сестра (это стало мне ясно с самого начала) – как могла она настолько разойтись со Всевышним? Узнав же повод, эту историю с платьем, попробовала ее пристыдить за такое возмутительное поведение. Но Эмеренц только рассмеялась мне в лицо, что ей совсем не шло: ни слезы, ни легкомысленная веселость как-то не вязались с ней, были не в ее натуре.

Церковь да попы ей ни к чему, объяснила она. И подать эту церковную она не платит: успела за войну наглядеться на Господню работу! Против плотника-то с сыном ничего не имеет: оба – люди трудящиеся. Да только сбили сына с толку эти болтуны-политики, впутали в какую-то историю (почему его и казнили: властям неугоден стал!). Но больше всего мать, бедняжку, жалко; ни дня ведь покоя не знала, тревожилась за сына. Хотя странно очень, почему именно только в Страстную пятницу смогла уснуть спокойно.

Я думала, гром ее тут же разразит за то, что Иисус, Сын Божий, предстает в ее изложении жертвой каких-то политических махинаций; невинно осужденным на каком-то сфабрикованном процессе устраняется из жизни многострадальной его матери, Пресвятой Богородицы. Заметив, что я задета, Эмеренц злорадным торжествующим взором проводила меня, с оскорбленно поднятой головой удаляющуюся в церковь. И вдруг меня осенило: как ни чурается чудна́я эта женщина, по ее уверениям, политики, что-то все-таки дошло до ее сознания из творившегося у нас тогда, в послевоенные годы, просочась по тайным канальцам слухов! И подумалось: надо бы найти для Эмеренц пастора, который вновь пробудил бы в ней религиозное чувство, когда-то, несомненно, живое. Но тут же я сообразила: только хуже ее этим раздразню. Эмеренц – христианка; но нет на свете такого духовника, который бы ее в этом убедил. Блестки на том платье уже отсверкали, но давний отсвет затаился где-то в глубине души. Той ночью она хотела меня, конечно, всего лишь позлить, и догадка эта странным образом меня успокоила. Чувствовала бы неминуемую беду – не дразнила Библией; но, слава богу, только поддевает, подсмеивается. Хотела я было встать, она не дала, сказав: буду спокойненько, смирненько лежать, закрывши глазки, расскажет мне о себе. Я устроилась поудобнее. Эмеренц осталась стоять, спиной к кафельной печке. Я мало что о ней знала, по кусочкам, отрывочным подробностям составив себе очень приблизительный, туманный фантомный портрет. И вот в ту почти нереальную зимнюю ночь, когда рука об руку с жизнью надо мной тревожным наваждением склонялась смерть, Эмеренц, отгоняя мои страхи, познакомила наконец с собой.

– Вы братья-сестрички Христовы, вот вы кто у нас, – говаривала нам мать, потому что отец наш плотник был. Плотник и столяр. А младший его брат, мой крестный, – каменщик. Умер вскоре после моих крестин… а хороший был мастер, как все Середаши. Отец тоже досконально дело свое знал, да и собой видный был… ну а мать – просто фея, красавица писаная. Волосы золотые, распустит – до полу, наступить можно. Дед мой гордился очень дочерью, в пансион ее пристроил, не хотел за крестьянина выдавать – и за ремесленника-то отдал не сразу. Слово взял с моего отца, что не будет заставлять ее работать. Он и не заставлял. При жизни его мать все книжки читала, да недолго пришлось, мне всего три годика исполнилось, как помер, бедняга… И дед – поди ж ты! – прямо-таки возненавидел его за то, что угораздило помереть. Как будто он нарочно, чтоб ему досадить… А тут как раз война, еще труднее стало

жить. Не знаю уж, любила ли мать нашего старшего подмастерья, едва ли, по крайней мере вначале; но одной-то не под силу было управляться с мастерской, ну и вышла за него. Отчим косо на книжки на эти посматривал; но не это главное, а то, что всех в солдаты забирали, а он страшно боялся, бедолага, что вот-вот до него дойдет черед. А так – ничего: и с матерью у него жизнь сладилась, и нас терпел; неплохой был человек. Но меня вытребовал-таки из школы – к огорчению директора. Кому-то надо было готовить на жнецов; мы нанимали, мать одна не справлялась. И близнецов нянчить тоже мне пришлось: их-то отчим пальцем не трогал, и понятно: видели бы вы, дивные какие были младенчики, прямо принцы сказочные, оба в мать. Вот Йожи, младший мой брат – вы сына его знаете, приходит ко мне – вот тот ни на кого не похож… и виделись мы редко. Его после смерти отца Дивек, дед мой с материнской стороны, к себе забрал, он больше у него в Чабадуле жил, чем у нас в Надори; там и до сих пор родственники матери живут, кто еще остался. Директор, как забирали меня, разахался: какая жалость, потеря, а отчим: что за наглость – соваться в чужие семейные дела, не доводите меня, а то дождетесь, схлопочете по башке! Я вдову с четырьмя детишками взял – и вот-вот в армию заберут; как жена-то будет без меня? Вы что, говорит, думаете, хочется мне ребенка в работу запрягать? Но мужчин-то нет, некому пособить – ни в столярке, ни в поле! Всем хлеба дай, а его и скотине на корм не родится. В общем, выдал директору, а меня наладил помогать. Он не злой был, не думайте; просто страх донимал, сами знаете, каково это, чего со страху не выкинешь. И поколачивал тоже, хотя я на него не сержусь, чего сердиться, очень я была неловкая, особенно поначалу; не имела ведь раньше дела с землей. В поле-то играть ходили, не работать; а отчим знай только запугивал себя да бранился. Его и правда все вызывали, повестки так и сыпались. Вечером как-то, когда я уложила близнецов, поуспокоились все – Йожи не было уже с нами, у деда жил, – мать сказала: не надо все время думать и говорить про то, чего боишься, а то как раз и случится. Но отчим все свое: быть беде, сон мне такой был; заберут – и не увижу больше вас. Так и вышло: из Надори он первым попал на фронт… и погиб. Мать не знала, что и делать без него: ни людей, ни материала, рубку леса тогда как раз запретили; да и строить не очень строили. Но поперворначалу думала, обойдется: не мастерская вывезет, так поле, в деревне небось выросла, в крестьянской работе понимала. Видели бы вы только, как она надрывалась… я уж и то помогала, как могла, не глупенькая была. И готовлю на всех в свои девять лет, и нянчу; да толку чуть, не успевали мы ничего. А как пришло извещение о гибели отчима, оказалось, что мать и его успела полюбить. Уж как убивалась: вслед за первым второго мужа лишилась – и оплакать-то негде, могилы нет. Очень ее это новое горе подкосило (не думайте, что только у вашей сестры нервы есть!). Слабенькая она была, молодая, беспомощная… и однажды, когда близнецы раскапризничались, налетела на меня: сидишь тут, время ведешь, а работа стоит! Тут и во мне что-то словно возмутилось, я и подумала (тоже ребенок ведь): убегу к брату в Чабадуль! Ему там, у деда, лучше живется, работой не перегружают… и близнецов с собой захвачу, а мать пусть как хочет; дорогу знаю, сама пешком дойду, рядом ведь, соседнее село. И вот спозаранок отправились втроем, я с двумя белокурыми близнятками на руках; но только дошли до гумна – они запросились посидеть да поесть, потом – попить. Я и побежала к колодцу для скота с жестяной кружкой; она всегда была при мне, на шее, на веревочке, даже дома: привыкла, что маленькие канючат, попить да попить. Не сказать что близко был колодец, да ребенок разве понимает разницу: близко, далеко. Только дошла – налетела гроза. Такой сильной и внезапной я в жизни не видывала – и во всей округе не припомнят. За минуту какую-нибудь небо все потемнело – не черное даже стало, а черно-лиловое и в сплошных вспышках молний, как в огромных кострах; а гремело… раскат за раскатом, хоть уши затыкай. Я уж и кружку бросила и скорее назад: вижу, там молния в дерево ударила, как раз над близнецами. Добежала – дерево дымится, а близнецы оба мертвые… только ни на что не похожи, не узнать. Ливень страшный, платьишко всю меня облепило, а передо мной два каких-то черных чурбака, ни дать ни взять – два обугленные полена; кривенькие только да поменьше.

Стою, верчу головой, ровно дурочка: где же это они, мои беленькие, мои братик с сестричкой, куда подевались? Ведь не они же это – вот это вот, не знаю что… Ну и чего тут удивляться, что мать в колодец бросилась. Только этого ей еще недоставало… Увидела меня, ревмя ревущую, визжащую, как в истерике, так что дома, наверное, слышно было между раскатами грома, и, как была, босая, в одной рубашке – на меня и ну бить, колотить по чем попало, знать не желая, что я от ее же слез, ее дурного настроения, от жалоб и причитаний убежала… С отчаяния била, сама не понимая, что делает, готовая крушить, ломать все кругом, словно тяготы всей жизни на мне вымещала. Когда же уразумела, почему я ее звала, увидела деточек своих, краской вся залилась и прочь под дождем, только волосы распущенные волочатся сзади – бежит и криком надрывным кричит, как вот птица кличет иногда… Видела я, как она прыгнула в колодец; но будто к месту приросла там, под деревом, возле мертвых близнецов. Позови я на помощь, может, еще спасли бы ее, дом-то наш у дороги стоял; то гумно – прямо за нашим огородом; но даже шевельнуться не могла, как заколдованная. Гроза прошла, а у меня словно паморки отшибло, таращусь на эти обугленные чурбаки и сама не знаю, где же, где они, кого любила больше всех на свете… Волосы все мокрые, а голова пустая, только в дальнем уголке сознания что-то вроде недоумения: чего это она там так долго? Зачем в колодец полезла? Зачем, зачем… Тоже убежать хотела, невезучая, скрыться от меня, от зрелища этого, от судьбы своей; с нее уже довольно было. Хочется иногда избавиться наконец. От всего… Постояла я, посмотрела и пошла себе не торопясь – не домой, что там делать, в пустом доме, а встала на дороге и говорю первому встречному: пойдите маму позовите, там она, в колодце. И еще не знаю, куда это братик мой с сестричкой девались?.. Вон под тем деревом были, а сейчас черное что-то вместо них. Сосед побежал, это сосед наш оказался… Он же и распорядился, устроил все потом. Меня к директору отвели, пока от деда за мной не приехали, но он не взял к себе, только брат Йожи у него остался, а меня первым же приезжим отдал, из Пешта, которые служанку искали; сразу после похорон и увезли. Я была на похоронах, еще раз увидела их всех в открытых гробах: в одном – близнецы, в другом – мать; но так ничего и не поняла. И мать другая, и близнецы: волосики русые спеклись; да и голов-то нет, совсем на себя не похожи. Так что я и плакать-то не могла, слишком много свалилось на меня, разумение мое превосходило. Знаете, на что я сейчас деньги откладываю?.. На склеп. Большой будет пребольшой и всех на свете краше. В окошках – стекла разноцветные, а под ними постаменты с гробами: отец, мать, близнецы, я – и еще два пустых, для брата с племянником. Еще до войны копить начала, но разошлось на другое. Попросят – я и отдам, не жалко на доброе дело. Стала опять откладывать – обокрали; взялась вот заново копить. Деньги теперь есть, даже из-за границы кое от кого идут, да и сама работаю, дня еще без работы не сидела. Вот и собрала на склеп. На похоронах все смотрю, сравниваю: похоже на то, что я задумала? Нет, мой будет лучше всех. Вот сами увидите, как красиво солнце сквозь радужные стекла гробы будет освещать на закате и на рассвете… Уж такой склеп, такой склеп будущая моя наследница соорудит – всем на загляденье… Не верите?

Виола

От всех, с кем у меня устанавливалась какая-нибудь близость, привыкла я получать при встрече подтверждение, что мне рады. Всегда было это для меня важно, поддерживая мое собственное расположение к ним. И, встретив на следующий день со стороны Эмеренц полнейшее равнодушие, я была глубоко уязвлена именно в этом, естественном, а не каком-либо тщеславном ожидании ответного чувства.

После той нереальной почти ночи, которую провела Эмеренц подле меня, приоткрыв свое далекое детское «я», все мои волнения и тревоги улеглись, и я уснула под утро в полной уверенности, что все будет в порядке, ни на минуту не сомневаясь в благополучном исходе операции. Прежде словно какая-то пелена окутывала ее прошлое, все ее существо. Теперь предстала она в ярком блеске молний над колодезным журавлем, возле обугленных трупиков, одна посреди дикой степи на фоне клубящихся туч – и вся натянутость, напряженность меж нами разрядилась сама собой. Я ощутила ее не чуждой, а близкой себе, настоящим другом.

Но ни в квартире при моем пробуждении, ни на улице, когда я отправилась в больницу, ее не было, хотя заснеженный тротуар перед воротами был расчищен: явно ее работа. «Пошла мести у других», – сказала я себе в ее оправдание, приехав без тени прежнего гложущего беспокойства, уверенная, что меня ждут добрые вести. Так оно и вышло. В больнице оставалась я до полудня, вернулась проголодавшаяся и в твердом убеждении, что наверняка застану Эмеренц: сидит небось, изнывая от нетерпения. Не тут-то было. И мной овладело то острое разочарование, которое охватывает, когда являешься с радостным или роковым известием и натыкаешься на абсолютное безразличие. Вот когда, наверное, у нашего предка-неандертальца впервые комок подкатил к горлу: когда он, притащив убитого зубра, обнаружил, что не с кем поделиться этим триумфом: ни раны свои, ни добычу некому показать. Квартира была пуста. Не в силах поверить, что в такой день, не зная, жив мой муж или умер, Эмеренц может находиться еще где-то (да и снег к тому времени прошел, ничто ее на улице не держало), я заглянула туда-сюда, позвала несколько раз… но ее нигде не было. Всякий аппетит у меня пропал.

Нехотя стала я разогревать обед. Логически рассуждая, никакого права ожидать от нее столь многого я не имела, но не все же поддается логическому истолкованию – в том числе и такое вот чувство обманутых ожиданий, зияющей пустоты. В то утро Эмеренц, видимо, вообще не убиралась; даже скинутое мной байковое одеяльце так и осталось валяться скомканное на кушетке. Я привела все в порядок, вымыла посуду и опять направилась в больницу – за новыми хорошими вестями. Обретенная вновь внутренняя уверенность вернула мне твердость. «Ничего ей не скажу из того, что узнала у врачей, – решила я. – Зачем навязываться? Мои дела ее явно не интересуют. И где гарантия, что все рассказанное ею этой бредовой ночью после глинтвейна – правда. Уж слишком невероятно все, прямо какая-то фольклорная баллада в прозе. Вообще, что это я: Эмеренц да Эмеренц, совсем ненормальной надо быть, чтобы только о ней и думать».

Явилась она лишь поздно вечером, сообщив, что, может быть, и завтра убраться не успеет, снег, того гляди, опять повалит, ну да наверстает потом; хозяину-то лучше небось?.. И сводку погоды, и вопрос этот я оставила без ответа, демонстративно перелистывая книгу. Потом сказала: да, ему лучше, спасибо, можете идти. И Эмеренц, пожелав спокойной ночи, тотчас удалилась. Даже оставленную на кухне пустую кефирную бутылку не потрудилась снести за меня в мусорный бак и печку не затопила. Словно и не было никаких рассказов и глинтвейнов. Только через два дня снова объявилась – и тогда уж убралась основательно, не справляясь больше о «хозяине»: полагая, вероятно, что поправляется. Не любила лишних расспросов.

И после стала у нас бывать даже реже обычного. Обе мы были заняты своим: меня поглощала больница, ее – снегопады. Гостей я не принимала и сама почти не бывала дома. К Рож-

дестве мужа наконец выписали; Эмеренц учтиво поздоровалась с ним, пожелав наискорейшей поправки, и по своему неписаному правилу явилась к нам с подкрепляющим питанием для выздоравливающего. На сей раз я внимательнее разглядела миску, которую она проносила мимо при уличных встречах. Это было тоже почти художественное изделие, как и тот бокал: фарфоровая супница на круглой ножке, с двумя ручками и вдобавок – с флагом национальных венгерских цветов и портретом Кошута[8] на крышке. В миске был куриный бульон с золотистыми блестками жира. Эмеренц, заметив, что меня больше занимает сама супница, объяснила: очень удобная вещь, это Гросманша, одна из ее прежних хозяек, подарила, когда антиеврейские законы[9] ввели. У Гросманши подавалась она, конечно, на стол, но не пускать же ее теперь под цветочный горшок. У Гросманши много и другого фарфора было, разных красивых изделий из стекла: бокал, который она приносила с глинтвейном, тоже от нее.

«Хорошенькое наследство», – с отвращением подумала я, и без того уже раздраженная этой принятой опять заученной позой благотворительницы. Для полноты картины оставалось только вообразить себе отталкивающие детали: как она увязывает чужие вещи в перерытой, оставленной хозяевами квартире. Мне перед Второй мировой войной очень повезло в том смысле, что я оказалась в среде, политически гораздо более осведомленной, нежели ближайшее мое, собственное венгерское окружение. Наверно, небезынтересно было бы описать то время, проведенное среди иностранцев, ранние молодые годы, о которых в книгах моих почти не упоминалось. Я-то знала, кого везли в тех товарных вагонах с задвинутыми дверями – кого, куда и зачем. И охотнее всего вернула бы Эмеренц эту миску с супом; да только не обошлось бы без словопрений, а мне не хотелось мужа волновать. Я пока оберегала его от слишком тесного соприкосновения с внешним миром, отцеживая для него все новости. Ведь он и еле живой выпрыгнул бы из постели, узнай только, что его кормят из супницы, которая принадлежала человеку, отправленному в газовую камеру. Эмеренц-то, наверное, рассуждала, как все: не возьму я – унесут другие. И я дала ему все доесть, доставив себе единственное удовольствие: не сообщив Эмеренц, что он впервые поел с аппетитом, хотя на сей раз она явно ожидала признания ее заслуг, все возясь на кухне, медля уходить. Но я, не поблагодарив, просто поставила перед ней пустую супницу и вернулась в комнату. Спиной почувствовала я ее вопросительный взгляд, довольная: пускай поудивляется, что это на меня нашло?! С торжествующим, не чуждым горделивого презрения чувством думала я: вот и разгадка, почему к себе не пустила. Прав мастер-умелец, подозревая, что у нее за запертой дверью ценности спрятаны, вещи увезенных на смерть, как их показывать? Еще опознают – что тогда будет!.. Зря она старалась, увязывала: теперь даже продать награбленное не может. Хороша, нечего сказать! От бедных Гросманов следа не осталось, а она себе на Тадж-Махалы[10] собирает. Нашла алиби: не хочет якобы кошку выпускать, вот и закрывается. Правдоподобное вроде объяснение, только недостаточное. О Гросмановом имуществе – вот о чем умалчивает эта легенда.

Эмеренц тоже была гордячка, еще побольше меня. Хотя и неприятно пораженная, не стала спрашивать, с чего это мы вдруг так к ней охладели. Муж, впрочем, и от природы был необщителен, его, как я говорила, и без того сковывало, не переставало сковывать присутствие Эмеренц, хотя он не признавался в этом. Словно какие-то токи исходили от нее, заряжая либо положительно, либо отрицательно; ее нельзя было просто не замечать, игнорировать, будто ее нет… И сама она перестала нас чем-либо угощать. И, думая, что разгадала тайну, я переменила мнение о ней, не считала ее больше натурой независимой и с незаурядным умом. Будь у нее ум, уж постаралась бы, наверно, хоть недостатки своего образования восполнить, ведь откры-

[8] Кошут, Лайош (1802–1894) возглавлял борьбу за независимость от Австрии и Венгерскую республику 1848–1849 гг.

[9] Имеются в виду законы о депортации, принятые в 1944 г. под давлением гитлеровской Германии.

[10] Тадж-Махал – мавзолей на южном берегу реки Джамна в индийском городе Агра, построенный в XVII веке императором Шах-Джаханом для умершей при родах жены Мумтаз-Махал.

вались же после сорок пятого года такие возможности. Начни она тогда учиться, министром стала бы теперь или послом… но зачем ей культура, образование? Ей только на то хватило ума, чтобы чужое загрести… а теперь вот благотворительностью занимается, из краденой супницы подкармливает – и в доверительные ночные часы голову мне морочит небылицами, которые где-нибудь на ярмарке подхватила или из бульварного романа, найденного на отцовском чердаке. Гроза, молния, колодец… это уж слишком, это пережим! Понятнее стали мне теперь ее аполитичность, ее нерелигиозность: и правда ведь лучше ни в каких публичных местах особенно не показываться, не так велик Будапешт, чтобы не разнеслась молва о ее вечно запертой квартире и не дошла до Гросмановых родственников, если уцелели таковые. Пораскинув мозгами – к тем же выводам придут, что и я. Да и зачем такой особе церковь, во что она вообще может верить?! Зима была снежная, у Эмеренц работы хоть отбавляй; у меня – тоже ни минутки свободной из-за мужниной болезни. И едва ли могло показаться таким уж странным, что мы больше не пускались с ней ни в какие разговоры.

Потом я нашла собаку. Муж снова стал выходить, снова ожил. За тридцать пять лет совместной жизни частенько случалось его выхаживать, иногда буквально вытаскивать у смерти из лап; но каждый раз он выходил победителем из всех переделок, включая последнюю. Первейшим жизненным стимулом, словно молодившим его, всегда и во всем оставалось для него: победить. Был как раз канун Рождества, мы, выписав лекарства, не спеша возвращались под редким мокрым снегом с амбулаторного приема – и под деревьями наткнулись на щенка, по самую шейку в сугробе. В фильмах о войне – о дальневосточных лагерях для пленных – приходилось видеть такой способ казни: закопают по уши, по самые ноздри в песок, так что нельзя и крикнуть, позвать, разве только застонать, проскулить. Вот и щенок скулил, будто в надежде, что заступятся, вызволят из беды. Неплохой психологический расчет: кто же в канун Рождества Христова обречет на гибель живое существо! Даже муж, не большой любитель животных, подчинился магии этого вечера. С трудом терпел он в доме посторонних, тем паче собак, которые не только на пищу, но и на чувства наши притязают – и все-таки помог мне извлечь щенка из мерзлого крошева. Мы, собственно, не собирались брать его насовсем, но и на улице оставить не могли: замерз бы до утра. Подумали, отдадим кому-нибудь. Но все равно предстояло немало хлопот: накормить, а главное – показать ветеринару.

– Вот так сюрприз, – сказал муж, в то время как щенок, высунув темную мордочку из-под мехового отворота моего пальто, испуганно таращился на дорогу и талая вода с его лап и брюшка стекала мне за пазуху. – Получили рождественский подарок.

Эмеренц уже управилась с праздничной уборкой, дома все блистало чистотой, и мы ломали по дороге голову, где же устроить щенка. Решили было в опустевшей после кончины моей матери комнате (которую мы даже не топили), обставленной красивой мебелью восемнадцатого века.

– Надеюсь, восемнадцатый век ему понравится, – заметил муж. – Но, правда, он только лет до двух будет ее грызть, потом перестанет.

Я промолчала. Муж был, несомненно, прав, но другого ничего не оставалось, даже если наш незадачливый приемыш всю мебель изгрызет. И мы двигались, шли молчаливым шествием в тот вечер под Рождество со священной черной реликвией у меня за пазухой, словно члены какой-то загадочной секты.

Эмеренц была как раз на кухне, нарезая рождественский пирог, но, увидев, кого мы принесли, тотчас бросила нож. Ни разу – ни до, ни после, когда она, исполнясь нерастраченной материнской любви, на все была готова ради меня, – не видела я ее такой, как в тот миг. Выхватив у меня щенка, растерла его усердно сухой тряпкой и опустила на каменный пол посмотреть, умеет ли ходить. Щенок плюхнулся беспомощно, откинувшись на тощенький задик: лапы, закоченевшие в снегу, не слушались его. Тут же он и наделал под себя со страха. Эмеренц

набросила на лужицу газету, велев мне достать из встроенного шкафа махровую простыню поменьше. Я и не подозревала, что она знает, где что у меня лежит. Раскладывать все по местам неизменно предоставлялось мне самой; к тому, что не ее, Эмеренц не желала иметь никакого касательства. И вот выходило, что она прекрасно разбирается в содержимом моих шкафов. Не трогала ничего, но все примечала, вела свой учет.

Я принесла простынку, она запеленала щеночка, как малого ребенка, и стала прохаживаться с ним, что-то ему нашептывая. Я пошла к телефону: незачем медлить, уж коли хотим спасти найденыша. Комнату уже оглашал телевизор; атмосферой рождественских праздников с их предновогодними ароматами, огнями, музыкой повеяло и у нас. Многое я утратила из своего прошлого, но снежно-звездное рождественское настроение, неразлучное с образом младенца Иисуса у Богоматери на руках, осталось со мной. Эмеренц между тем, ничего не слыша и не видя, продолжала прохаживаться по передней и резким, надтреснутым голосом что-то напевать, самым неожиданным и трогательно-нелепым образом перескочив вдруг на колядки. С туго спеленатым черным щенком на руках казалась она каким-то карикатурным подобием материнства, настоящей абсурдистской Мадонной. Неизвестно уж, сколько бы она его так баюкала, если б за ней не прибежали: скорее, мол, воду надо перекрыть, труба лопнула, г-н Бродарич вызвал уже слесарей. С убийственным выражением передав мне щенка, Эмеренц ушла возиться с кранами, воду подтирать, но каждые четверть часа прибегала взглянуть, что с собакой, которую, покинув царство бенгальских огней, уже осматривал внявший нашим мольбам знакомый ветеринар. Эмеренц прислушивалась недоверчиво, врачей она не выносила, всех их поголовно считая невеждами и недоумками. В лекарства и прививки тоже не верила, утверждая, что слухи о бешеных лисах да кошках распускаются – и всякие там уколы и инъекции делаются – единственно ради наживы, чтобы содрать побольше.

Целые долгие недели шла борьба за собачью жизнь. Эмеренц, словечка не молвя, замывала следы, которые оставлял расстроенный собачий желудок; вопреки своим убеждениям пичкала щенка таблетками в мое отсутствие; придерживала, когда ему вкалывали антибиотики. А мы тем временем наперебой предлагали его знакомым, но все отказывались. Дали ему красивое французское имя, которым Эмеренц ни разу его не назвала, да и сам он пропускал его мимо ушей, но в остальном рос, вытягивался день ото дня, обнаруживая все присущие беспородным собакам привлекательные свойства и стороны, пока наконец совсем не поправился. Смышленостью, как вскоре оказалось, он далеко превосходил своих чистокровных сородичей, которые были у моих знакомых. Красавцем его нельзя было назвать, слишком уж смешанных кровей; но стоило заглянуть в его темные, сосредоточенные горящие глаза, чтобы уловить почти человеческую сметливость. И прежде чем выяснилось, что взять его нет охотников, мы к нему уже успели привязаться. Купили ему всю полагающуюся сбрую, корзинку для спанья, которую он в две недели изгрыз, раскидав измочаленные прутики по всей квартире, а сам приспособился спать у порога в собственной, уже пышной, чуть волнистой природной шубе. Быстро усвоил и всю обращаемую к нему лексику и стал равноправным членом семьи; личностью, одним словом. Муж иной раз погладит даже за сообразительность или забавную проделку. Я его любила, Эмеренц – обожала.

В памяти еще свежи были воспоминания о супнице, глинтвейне и всем, с ними связанном, – и я с некоторой иронией взирала на этого друга животных. Вчера еще без единого вздоха, единой слезинки провожала взглядом опломбированные вагоны, вместо скотины, по уверению «злостных сплетников», увозившие людей, а нынче распространяется с умилением, как быстро гуси, куры, утки привязываются к ней и как тяжко головы им рубить, горло перерезать – употреблять в пищу недавних добрых знакомцев, которые настолько-де привыкали к ней за несколько дней, что корм брали изо рта, вспархивали, садясь рядышком. И пока Эмеренц сама изъявляла собаке свои пылкие чувства, это меня скорее забавляло. Но заметив, что и та считает ее своей настоящей хозяйкой, я только что не в бешенство пришла. Ко всем нам пес под-

ходил с разной меркой, к каждому было у него свое отношение. Со мной он фамильярничал, с мужем держался скромно, почти благонравно, а заслышав Эмеренц, кидался со всех ног к дверям, подвывая от радости. А она без конца втолковывала, объясняла ему, громко, раздельно, отчетливо, будто ребенка обучая – и не делая секрета из своей науки. Одно и то же твердила вслух, как стихотворение, нимало не заботясь, нравится нам или нет:

– На хозяйку свою – пожалуйста, прыгай, и руки, и в лицо можешь лизнуть, и поспать с ней на кушетке: она все стерпит, потому что любит. А хозяина не дразни, хозяин, он тише воды ниже травы, да неизвестно, что там, в тихом омуте, водится; эту воду, смотри, не мути; помни: ты на хорошем месте, лучше нельзя собаке и пожелать.

В отношении же себя вообще не наставляла, пес и без того угадывал, что от него требуется. К тому времени Эмеренц и кличку ему дала, назвав Виолой – ничуть не смущаясь тем, что он оказался кобельком. И, обращаясь к нему, уже не поучала, а дрессировала:

– Сидеть, Виола! Пока не сядешь, сахару не получишь. Сидеть! СИ-ДЕТЬ!

Увидев, чем она его вознаграждает, я сделала ей замечание: ветеринар запретил ему сахар давать.

– Ветеринар – набитый дурак, – отрезала Эмеренц, ласково, но настойчиво нажимая на собачью спину. – Сидеть, Виола, сидеть. Сядешь – вкусненького дам, сладенького. Сахарку собаченька получит, сахарку. Сидеть, Виола! Сидеть.

И собака садилась, сначала ради сахара, потом уже рефлекторно, по привычке, слыша знакомое приказание. Нередко Эмеренц просила отпустить Виолу к ней: пускай побудет, постережет, пока она сгребает снег; квартира-то пустует целый день. Муж отпускал: берите, не будет тут бегать да лаять, по крайней мере. Я осведомлялась: а за кошку свою не боитесь? Говорят, что у вас ведь и кошка есть. Эмеренц заверяла: нисколечко; научу, что любить надо, а не обижать другое существо, Виолу всему можно обучить! Но если собака вела себя нехорошо, Эмеренц, вопреки моим запретам и собственному обожанию, била ее нещадно. От меня пес за все четырнадцать лет своей жизни ни разу не получал побоев – и все-таки хозяйкой своей признавал только Эмеренц.

Любопытно было бы взглянуть, что он делает там, в закрытых для всех владениях Эмеренц, но запрет так и не снимался. Что встреча с кошкой действительно состоялась, подтвердили принесенные Виолой блохи: еще одно развлечение для нас. Протекало знакомство явно не гладко, об этом свидетельствовали пораненный нос и глубокая царапина на ухе. Само поведение Виолы гласило о нешуточной схватке и о хорошей трепке, с помощью которой до собачьего сознания было доведено, что кошку трогать нельзя. Пес, однако, не воспринял этого трагически и по возвращении только тыкался мордой в колени Эмеренц с видом нашкодившего мальчишки. В дальнейшем все обходилось без происшествий. Бывало, выведу его на прогулку, и он без всякого беспокойства и волнения, с безмятежной веселостью посматривает на удирающих и прячущихся бродячих кошек, словно недоумевая: чего это они, у него же никакого злого умысла нет. Всю зиму караулил он жилище Эмеренц, и лишь когда в один воскресный вечер вернулся совершенно пьяным, я запретила его брать.

Сначала себе не поверила: что такое: лапы подкашиваются, дышит прерывисто, бока бочонком и глаза закатываются. Даже приподнять его не удалось: поставлю на ноги – валится. Пришлось присесть, чтобы выяснить, что с ним. Пес икал, и от него разило пивом.

– Эмеренц! Собака вдребезги пьяная, – вымолвила я, задыхаясь от негодования.

– Ну и что, – невозмутимо ответила та. – Выпила немножко… От этого не помирают. Пить собаке хотелось. Ей даже полезно.

– Вы с ума сошли, – сказала я, подымаясь с колен. – Больше вы собаку не получите. Не для того мы ее спасали, чтобы вы погубили, приучая к алкоголю.

– Это капелька пива-то ее погубит? – с неожиданной горечью возразила Эмеренц. – Утка жареная, которую мы с ней разделили, пиво, которое я с ней распила, потому что сама у меня

выпросила, выклянчила? А что было делать, если так и этак просит, умоляет, только что не говорит?.. Виола – не как все, она – собака особенная. То ее погубит, что со мной вместе обедает – и ест вдоволь, не как у вас, все по часам, на голодной диете: этого нельзя, того не тронь, а уж в комнате да из рук – ни-ни?.. А ведь это самая радость для нее, если из рук, не из миски. Я воспитываю ее, разговариваю с ней, уму-разуму учу – и погублю?.. Сидите тут по своим комнатам, как два истукана, слова друг дружке не скажете. Один там, у себя, на машинке тюкает; другая – здесь… Пожалуйста, можете оставаться со своей Виолой. Посмотрим, что у вас получится.

Вот что она нам выложила – со смертельной обидой и ледяным спокойствием уязвленного в самое сердце, оскорбленного в лучших чувствах педагога. Сделав это свое заявление – во всех важных случаях своей жизни Эмеренц не говорила, а заявляла, – она повернулась и ушла. Упившийся до невменяемости пес сопел, распластавшись на полу, не в силах даже уразуметь, что его бросили.

Затруднения начались не сразу, только на другое утро. Эмеренц, обычно забиравшая собаку, предварительно выведя ее и покормив, не пришла. Песик удержался, не напачкал, но, начиная с четверти седьмого, выл так, что пришлось встать. Не сразу я сообразила, что жду напрасно. Эмеренц – как Иегова: уж если карала, то со всеми чадами и домочадцами. Настоящий скандал разразился, однако, у ее дома: пес обязательно хотел к ней. Почему ему там – одному, взаперти – нравилось больше, чем у нас, где столько места, везде можно ходить, этого я никогда не могла понять. Сообразив, что напрасно рвется туда, пес совсем стал неуправляем: натянув поводок, потащил меня за собой. Сил ему было не занимать, а я зимой плохой ходок, боюсь поскользнуться: всюду снег, у тротуаров сугробы, недолго упасть, сломать себе что-нибудь. Но и отпустить Виолу нельзя: еще под машину угодит.

В то утро мы повторили маршрут, по которому гуляли они с Эмеренц. Пес обежал весь ее участок, где она обыкновенно убиралась, все одиннадцать домов, а я под слепящим глаза мокрым снегом, в заданном бешеном темпе, запыхавшись, поспешала вслед, наподобие какого-то одержимого Пер Гюнта[11]. Наконец псу, резко дернув, удалось-таки меня повалить; зато мы были у цели: нашли, кого искали. Он и Эмеренц-то, стоявшую к нам спиной, чуть не сбил с ног, прыгнув на нее сзади, но та была куда сильнее, вдесятеро сильнее, чем я даже в молодости. Обернувшись и увидев меня, подымающуюся с колен, она вмиг поняла, в чем дело, и первонаперво вытянула как следует Виолу волочившимся поводком. Пес взвизгнул, Эмеренц хлестнула еще. Мне жалко стало бедное животное.

– Сидеть, подлюка! – накинулась она на него, совсем как на человека. – Как себя ведешь? У, каналья!.. – Тот глядел на свою укротительницу, не в силах отвести глаза, как прикованный. – Хочешь, чтобы ко мне отпускали, обещай, что не будешь больше напиваться! Права, права твоя хозяйка; одного только не знает, что это день моего рождения был. И никто этого не знает, ни Йожи, брат, ни Шуту, ни Адель, ни Полетт; никому никогда не говорила. А подполковник, тот забыл уже. Но все равно нельзя так себя вести, надо прежде позволения спросить… Встать, Виола! – Собака, легшая под ударами и молча, со скорбной слезой сносившая их, поднялась. – Прощения проси! – Пес поднес левую лапу к сердцу, а правую воздел к небу, точь-в-точь – статуя какого-нибудь патриота, приносящего клятву родине. Я и не знала, что Виола умеет еще и служить. – Проси прощения! Проси! – понукала Эмеренц, и собака гавкнула коротко. – Еще раз! – Пролаяла еще, не сводя глаз с дрессировщицы, догадываясь, что все дальнейшее зависит от правильного исполнения номера. – Теперь обещай, что слушаться будешь. – Пес подал ей лапу. – Не мне, я-то знаю, хозяйке своей.

[11] Пер Гюнт – неприкаянно скитающийся по свету герой одноименной драмы Генрика Ибсена (1828–1906).

Поскуливая, он с виноватым видом протянул лапу мне, как волк на картинках – св. Франциску Ассизскому[12]. Я, рассерженная на них обоих и больно ушибив коленку, лапы не приняла. Тогда, видя безуспешность своих попыток, пес опять без всяких подсказок отсалютовал мне правой, прижав левую к сердцу. Я сдалась. Опять они взяли верх! И оба это понимали.

– Виола пообедает со мной. А вечером к вам приведу, – сказала Эмеренц. – Не беспокойтесь. Коленку-то обмойте, вон кровь. Всего вам хорошего.

И достаточно было ей только бровью повести и качнуть головой, чтобы собака поняла и дважды пролаяла отрывисто на прощание. Зацепив поводок за забор, Эмеренц опять взялась за лопату. Они меня отпускали! И я, увязая в снегу, побрела восвояси.

[12] Франциск Ассизский (1181–1226) – католический святой, проповедник любви к природе и тварям Божьим.

Друзья и знакомые

С появлением в доме Виолы расширился круг наших знакомств. Прежде общались мы только с друзьями, теперь перезнакомились со всей округой, пусть и не коротко. Эмеренц трижды – утром, днем и вечером – выводила Виолу, но случалось, что из-за какой-нибудь неурочной работы дневная прогулка отменялась; тогда эта обязанность ложилась на нас. Муж или я выходили с собакой, неизменно устремляясь за ней, куда уж потащит. Сначала путь наш лежал к жилищу Эмеренц, причем каждый раз приходилось заглядывать в ворота – удостовериться, в самом ли деле ее дома нет, и, лишь когда собачье обоняние это подтвердит, можно было следовать дальше. Бывало, однако, что она оказывалась дома, но занятая чем-нибудь, отнюдь не требующим Виолиного участия; тогда, к стыду моему, оставалось лишь ждать под дверью со скулящим, царапающимся псом, покуда Эмеренц не выскочит, ругательски его ругая за то, что мешает. То стеганет, а то еще и отчитает за назойливость: чего ломишься, мол, виделись ведь утром – и вечером встретимся опять. Или, потрепав по шее, велит знакомый номер исполнить, сахарку даст и только после прогонит снова на улицу. Ну а не застанем Эмеренц у себя, пустимся искать где-нибудь у чужих ворот. Тогда уже там, на улице, разыгрывалось представление – с той разницей, что Эмеренц заставляла повторить его несколько раз, и мы, к своему ужасу, оказывались в центре общего внимания. Так перезнакомились мы чуть не со всеми соседями, с которыми иначе и не сошлись бы никогда. А если у Эмеренц у самой собиралось общество – конечно, в хорошую погоду, когда можно было усесться перед входом на скамейках, – пес изумлял гостей еще другими штуками: сам разыскивал свою миску и плошку для питья, которые Эмеренц перепрятывала по нескольку раз. Я все гадала: почему это они так послушно остаются снаружи, не переступая порога Заповедного Града? Все – хорошие знакомые, даже друзья, а Йожи – так близкий родственник; а закон замкнутых дверей и на них распространяется.

Дозволенными пределами оставалась лишь большая площадка перед дверью, вымощенная кирпичом, своего рода холл, куда выходили также чулан, кладовка и душевая. Наверное, и Заповедный Град был не какой-нибудь простой, а с гросмановской еще, изящной обстановкой. Площадка всегда блистала чистотой, пол Эмеренц мыла дважды в день, а на столе в теплую погоду готовила в свои свободные часы. Проходя вдоль ограды или из нашего окна я частенько видела, как Эмеренц сервирует этот стол меж двумя скамейками, угощает гостей разного возраста и звания, разливая по красивым фарфоровым чашкам кофе или чай – такими непринужденными, уверенными движениями, точно давно переняла у какой-нибудь искушенной хозяйки всю эту церемонию. Как-то на премьере Шоу[13] я все ломала голову: кого же это напоминает в сцене чаепития одна известная артистка? И вдруг сообразила: Эмеренц, вот кого! Эмеренц, принимающую гостей у своей заповедной территории.

Когда-то в окрестных домах проживало несколько важных лиц, и ближние улицы часто патрулировались полицейскими. Потом одни из этих политических деятелей скончались, другие переехали, а с ними исчезли и полицейские. Ко времени появления у нас Эмеренц единственный человек в форме показывался на нашей улице: подполковник. Долго я не понимала, какие отношения их связывают. И почему этого симпатичного офицера не смущает запрещение входить, ведь мало ли что там у нее может быть? Позже узнала, что он уже побывал у Эмеренц и видел все. Кроме обвинений в отравлении голубей и осквернении могил, были на нее доносы и такого содержания, что полиция никак не могла хоть раз не заглянуть, не проверить,

[13] Местом действия в основанных на парадоксальных ситуациях пьесах Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950) нередко были светские гостиные.

какие таинственные вещи или ценности там укрываются от нескромных взоров. И подполковник, тогда еще младший лейтенант, в сопровождении полицейского с собакой тщательно обследовал с неохотой, воркотней, но показанные ему все-таки помещения, обнаружив там лишь одну – по счету третью – раскормленную кошку, которая при виде собаки тотчас вскарабкалась на кухонный шкаф. Ни тайного радиопередатчика, ни беглого арестанта, ни краденых вещей – ничего. Только на совесть прибранная, дочиста вылизанная кухня-столовая да прекрасный спальный гарнитур в чехлах в другой комнате, где никто, по всей видимости, не жил, ибо никаких иных личных вещей там не было. Дружба Эмеренц с подполковником началась, собственно, со ссоры, потому что, едва затворив дверь, она накинулась на него с яростными обвинениями: по какому такому закону обязана она пускать в квартиру кого попало, почему должна каждому открывать, кто позвонит? Поискали бы лучше того лиходея, который доносы строчит, а ей – слишком много чести: то с дохлыми голубями вяжутся, то заразу ищут, то оружие, хватит уже! Сыта по горло.

Полицейские даже отступили перед таким напором, перейдя к оборонительной тактике. Младший лейтенант все свое красноречие употребил, чтобы утихомирить Эмеренц; но та еще пуще распалилась: вот у тех политиков, живших здесь, вот у них было оружие. Ворон от безделья стреляли! Их вы небось охраняли, а меня вот приходите с собакой обыскивать, гром вас разрази! Вас, вас разрази, не собаку, она, бедняжка, не виновата, что ее толкают на такое, не с нее, а с лейтенанта спрос. И поведение собаки, которую погладила с этими словами Эмеренц, стало последней каплей в чаше, каковую пришлось, к своему конфузу, испить полиции. Вместо того чтобы поискать еще и в палисаднике зарытый труп или другой какой предосудительный предмет, как полагалось бы ученой собаке, она, едва рука коснулась ее загривка, вздрогнула и – полный скандал! – завиляла хвостом, обратив на Эмеренц умильно затуманенный взгляд. Собака словно прощения просила за то, что не может противостоять влекущей ее к этой незнакомой женщине высшей воле: вот как можно было расшифровать скулящее повизгивание, которым сопровождался этот взгляд. Младший лейтенант рассмеялся, мрачное лицо Эмеренц тоже постепенно прояснилось, оба примолкли – и заприметили с этой минуты друг друга. Как-то не приходилось еще младшему лейтенанту бывать в доме, где ни малейшего страха не внушает появление полиции. И Эмеренц впервые столкнулась с должностным лицом, которому, против обыкновения, не чуждо чувство юмора. Полицейские извинились и ушли, а лейтенант пожаловал позже с женой. С Эмеренц завязалась у него на редкость прочная, теплая дружба, которой даже внезапная смерть молодой жены не расстроила. Подполковник рассказывал мне после, что именно она, Эмеренц, помогла ему перенести этот удар, не впасть в полное отчаяние.

По мере того как жизнь шла своим заданным Виолой и Эмеренц порядком, я стала постепенно сомневаться в справедливости своих подозрений насчет суповой миски и бокала. В конце концов, если подполковник регулярно бывал у нее и все в свое время лично осмотрел, так уж, наверно, не преминул дознаться, как попали к ней эти вещи. Может, я заблуждалась, и семья впрямь их оставила ей за какую-нибудь услугу? Мало ли как помогали друг другу в то время. Число наших знакомых меж тем все росло: Виола и Эмеренц постоянно приобретали новых, которые и с нами начинали здороваться. Чаще всего останавливались перекинуться со мной словом три бессменные приятельницы Эмеренц: Шуту, владелица фруктово-овощного ларька, гладильщица Полетт и вдова лаборанта Аделька. Как-то летом – я гуляла с Виолой, а они расположились вчетвером за кофе с каким-то соблазнительного вида бисквитом, – Эмеренц пригласила меня присоединиться. Отказаться перед ней и перед ее товарками было неудобно; впрочем, собака сама решила за меня, потянув к столу и принявшись бесстыдно попрошайничать. Попрошайничество увенчалось тем, что домой возвращаться она нипочем не захотела. Раздраженная этим упрямством, я спросила вечером у Эмеренц, зашедшей еще

раз вывести Виолу, не хочет ли она взять пса насовсем, мы ведь с самого начала собирались его лишь на время приютить.

– Посадите его перед дверью на цепь и можете хоть вообще не запираться! Виола никого без позволения не впустит.

Поглаживая Виолу с такой проникновенной нежностью, будто цветок холя или лаская ребеночка, Эмеренц отрицательно покачала головой. Давно бы взяла, да нельзя, объяснила она. По договору о найме она имеет право только в квартире у себя кого-нибудь держать, даже куренка или гусенка – но только для стола. Да и дома мало приходится бывать, а собаке свобода, простор, движение нужны, что же она, живодер какой, на муку животное обрекать? Кошке и той трудно заточение переносить, а тем более такой неугомонной, любознательной, общительной собаке, как Виола. Сторожить, конечно, будет, но рабская участь не по ней, не для того эта собака создана. И вообще не след пожилому человеку собаку держать: рано или поздно одну оставит, куда она тогда; на улицу выбросят, бездомная станет, бродячая… Но если меня так уж сердит, что и ее тоже Виола любит, что ж, придется придумать что-нибудь. Не только ведь человека, и собаку отвадить можно.

«Приманила – а теперь от ответственности увертывается, – уже с возмущением подумала я. – Не нужна, так нечего было приваживать». Лишь гораздо позже, задним числом перебирая все, что уже указывало на скорый уход Эмеренц из жизни, сообразила я, что никто из нас, в сущности, не брал в расчет ее возможной кончины. У меня тоже было такое чувство, что она у нас будет вечно – по крайней мере, пока мы сами живы, неуязвимая, как природа, оживающая каждой весной; что не только посторонним, но и смерти к ней доступа нет. Я просто подумала тогда: прикидывается – и в наказание за собственный конфуз выдворила Виолу из комнаты, где стоял телевизор. Собака пристрастилась к экрану: транслировался матч – она поводила влево-вправо головой, следя за полетом мяча; показывали экологический фильм – прислушивалась к птичьему щебету, к каждому звуку и шороху, как реальность воспринимая отражение того, что ей не дано было непосредственно ощутить. За город, даже на гору Янош[14], никто ведь ее ни разу не выводил. Но через какую-нибудь неделю я, устыдясь, сняла запрет: не наказывать же пса за то, в чем он не властен. Да и по какому праву? Смирясь, приняла я как некую естественную данность, как должное сопринадлежность старухи и Виолы. Самой мне по утрам еще слишком хотелось спать, днем я была чересчур занята, вечером – замучена, чтобы еще с собакой возиться, выгуливать ее. Муж часто прихварывал, вдобавок мы иногда на довольно длительный срок выезжали за границу. Виола нуждалась в Эмеренц, а коли так, оставалось согласиться: фактически она ей и принадлежит.

Раздумывала я и над тем, почему это Эмеренц – впервые за все наше знакомство – заговорила о своем возрасте?.. Не ее это тема. Эмеренц немыслимые тяжести таскала, с неподъемными узлами и кофрами взбегала на верхние этажи; сильна была, как античная кариатида. И никогда словом не обмолвилась, сколько ей лет – разве что по сообщенным подробностям прошлого можно было установить. Ей три года было, когда помер отец; девять лет, когда призвали отчима, который тогда же, в четырнадцатом, и погиб. Если в четырнадцатом – девять, значит, она девятьсот пятого года рождения, то есть ужасно, невероятно старая! Так что ей вполне логично должно приходить на ум, что будет, если она в конце концов сляжет и уже не встанет. Другие же все, с кем она ничем слишком личным не делилась, гадать только могли о ее возрасте. И похоронить-то ее в незабываемый день нашей ссоры удалось опять-таки лишь с помощью подполковника, потому что в ее квартире перед дезинфекцией никаких документов не оказалось, ни в одном ящике; старухе, едва ли не единственной в этой стране, удалось, по-видимому, ускользнуть от всякого бюрократического буквоедства. Подполковник вначале еще видел у нее кое-какие документы, даже в руках держал ее трудовую книжку, на основании кото-

[14] Гора Янош – одна из окружающих Буду – «зеленую» часть Будапешта над Дунаем.

рой ей было выдано удостоверение личности. Но после по каким-то необъяснимым причинам она все уничтожила. Ненавидела она все эти бумажки: паспорта, удостоверения, даже месячные проездные билеты. А в домовую книгу, которую вела собственноручно и которую пришлось сжечь потом вместе с прочими подлежавшими уничтожению вещами, – в графу «дата и место рождения» корявым почерком вписала заведомую нелепость: «15 марта 1848 года, Шегешвар»[15]. Типичная ее шпилька, мстительный выпад в ответ на назойливые расспросы. Издевки Эмеренц всегда отличались точно рассчитанным ехидством.

Шуту была еще подростком, когда Эмеренц появилась на этой улице. И ни до, ни после войны она, по уверениям Шуту, никак не смогла бы устроиться на теперешнее свое место без документов. Квартира-то, куда она въехала и поставила мебель, – государственная. Мебель замечательная, владелец сам у нее оставил, отбывая на Запад. Тогда у нее, конечно, были документы – у нее и ее сожителя, из-за которого она и принялась затворяться. Никого к нему не допускала, страшный был нелюдим; да и ревновала его страшно, хотя кому он нужен был, совсем больной человек, от всего освобождение имел – и от работы, и от воинской повинности; почти что и не выходил. «Кожа да кости», говаривала про него сама Эмеренц. Она всегда таких выискивала – что людей, что животных: о хилых, немощных пеклась; вот и г-на Слоку обстирывала, обихаживала вплоть до его смерти. Потому что тоже нездоровый был, к тому же совсем одинокий. Рассказывала Шуту до того сбивчиво, путано, что я дважды заставила ее повторить, прежде чем уразумела: в осаду и перед ней Эмеренц жила не одна. До кошки был у нее, значит, жилец – или кем он там ей приходился. И еще в число ее подопечных входил какой-то «господин Слока», тяжелый и совершенно заброшенный сердечник, которому даже дежурство по противовоздушной обороне было не по силам; ни уехать, ни обслужить себя уже не мог. И умер в самое неподходящее время: в осаду. Куда только ни толкалась Эмеренц, чтобы убрали тело, с ног сбилась; а тут праздники, никому ни до чего дела нет. Пришлось в конце концов взять это на себя, и она – за велосипед покойного – согласилась похоронить его в палисаднике. Велосипед потом куда-то девался; почти наверняка сожитель взял, потому что после он тоже уехал – куда, этого уж она, Шуту, не знает, не может сказать. Вон там закопали его, где георгины; там он и оставался, пока в начале лета сорок шестого совет не перезахоронил. Население дома меж тем все время менялось, кто только ни перебывал тут… И на немцев стирала Эмеренц, и на русских… Ну, потом нормализовалась жизнь, все вернулось в свою колею. А доносы на Эмеренц не с голубей начались и не с политики – ее в осквернении могилы обвинили, потому что кошку повешенную подложила к покойнику. И когда она младшему лейтенанту стала объяснять, что кошка эта у нее за члена семьи была, единственного, он сказал: ничего себе, нашли тут чем наше время занимать, как будто полиции делать нечего; вот выведу, говорит, всех на общественную работу, площадь Вермезё привести в порядок – там этих трупов полно, и конских, и человеческих, – вот там и будете выбирать, кого где закапывать. Страна еле-еле с восстановлением справляется, а у них что на уме! Мне бы, говорит, ваши заботы. Будете с этими глупостями приставать, как бы, говорит, не пришлось мне самому розыском того мерзавца заняться. Нет чтобы с владелицей договориться, коли уж кошки ее не терпит, взял да расправился с ней таким гнусным фашистским манером… Есть же, в конце концов, закон, запрещающий животных мучить.

Как-то раз без всякой видимой причины Эмеренц не зашла за собакой и отсутствовала целый день. Была осень, но до снега еще было далеко. Когда мы вышли утром с Виолой, накрапывал мелкий теплый дождик. Пес понадеялся было застать Эмеренц дома, но нюх подсказал, что за дверью ее нет. И мы по очереди обошли другие знакомые дома, даже на рынке побывали.

[15] Два официально отмечаемых события национальной венгерской истории: 15 марта 1848 г. произошла революция; в сражении под Шегешваром (1849) погиб один из ее вдохновителей, известный поэт Шандор Петефи (1823–1849).

Но по всему собачьему поведению, убитому виду видно было, что Эмеренц нет поблизости, ни в одном известном Виоле месте. Пригорюнясь, собака устроилась в углу, а я принялась убираться, поминутно отрываясь дверь открыть. Искавшие Эмеренц, как обычно, прежде всего заглядывали к нам. Наведывались отовсюду, где она работала: что случилось? Почему мусорный бак за ворота не выставила? Палый лист не вымела? Не принесла выстиранного белья? Покупки сделать не пришла, а вечером вчера – за ребенком присмотреть?.. Звонили, стучали беспрерывно; пес рычал, оскаливал зубы и к обеду не прикоснулся: все ждал.

Поднос муранского стекла

Поздно вечером Эмеренц явилась и вывела не помнящую себя от радости собаку. Потом постучалась ко мне с просьбой зайти к ней поговорить без свидетелей, наедине. Вполне можно было бы и у нас; но Эмеренц настаивала, и мы отправились втроем: она и я с весело приплясывающей собакой, которую мы безбоязненно спустили с поводка: в такую поздноту вряд ли грозила драка со встречными псами. Эмеренц указала мне место за покрытым чистенькой нейлоновой скатеркой столом в холле, где всегда стоял острый, въедливый запах хлорки и разных моющих и дезодорирующих средств. Дом утих, окна были уже темные. Днем я как-то не замечала здесь ничего особенного, но теперь, в ночной час, хотя и не в тот еще, когда появляются привидения, вдруг, наедине с Виолой и Эмеренц, ощутила словно незримое присутствие всех прежде живших у нее, в этой квартире. Вдобавок какой-то шорох, слабое, приглушенное шуршание чудились в глубокой тишине. Да и пес, присев у косяка, стал издавать особые свои просительные звуки: не то стоны, не то судорожные страдальческие вздохи. Странный был, во всех отношениях необычный вечер, предвещавший что-то скорее смутное, тревожное, нежели приятное и гармоничное. Вообще-то я не слишком склонна все подвергать анализу, но тут подумала, что, в сущности, ничего не знаю об Эмеренц, за исключением ее чудачеств да уклончиво завуалированных, обтекаемых ответов.

– На днях придут ко мне… В гости, – не совсем уверенно, с несколько неестественной медлительностью начала она. Так говорят, отходя после наркоза, с трудом выстраивая ускользающие мысли. – К себе, в комнаты, я никого не пускаю, вы знаете. Но и тут, где мы сейчас, принять не могу. Это совершенно невозможно.

Опыт уже научил меня ни о чем не допытываться, спугнешь – и того меньше скажет. Если ни здесь, ни в комнатах не может принять, значит, гости какие-то непростые… Не вроде ли тех балладных персонажей, обугленных близнецов… которых, может, и не было совсем? Но не самого же Господа Бога в гости ждет? В которого не верит… потому что вместо шерстяных вещей вечернее платье ей послал. Во всяком случае – кого-то поважнее Йожи и подполковника, которые у нее бывают.

– Разрешите нам встретиться у вас? Вы ведь не любите сплетничать, как остальные. Ну, будто к вам приехали, вот как сделаем. Хозяин не будет возражать, если вы его попросите. Да и уроки у него завтра во второй половине дня. Я уж в долгу не останусь, вы ведь меня знаете.

– Хотите у нас принять?..

Удивленный мой взгляд и вопрос были, впрочем, излишни. Эмеренц всегда выражалась достаточно точно и определенно. Ну, конечно, у нас.

– Вы только сделайте вид, что и я тут, вместе с вами живу, больше мне ничего не нужно. Только место. А все остальное: кофе, чашки, напитки – сама принесу. Уж не откажите! Я вам отслужу. А к возвращению хозяина нас уже не будет. В среду в четыре часа. Можно?

На улице сеял мелкий дождик. Пес продолжал испускать у порога свои вздохи. Отношения наши с Эмеренц к тому времени давно уже наладились; даже визит к ней самого президента Французской республики не вызвал бы меж нами никаких дипломатических осложнений. Ну не узнаем, почему не может здесь принять, – много ли потеряем. Окружающая Эмеренц атмосфера загадочности успела стать для нас столь же привычной, как ее неизменный головной платок. Я пожала плечами: пускай приходит этот ее неведомый гость. А если и мне разрешается при сем присутствовать, тем лучше: не надо, по крайней мере, на страже стоять, оберегать их покой. Другое меня занимало по дороге домой: как мужу все это преподнести? Согласится ли – он, который если чего и недолюбливает, так именно всякой недосказанности, неточности, неопределенности?.. Но он только засмеялся, не запротестовав и не воспротивясь, а, наоборот, усмотрев в этом нечто возбуждающе пикантное, дразнящее воображение. Гость у нашей Эме-

ренц! Уж не замуж ли собралась?.. Уж не по брачному ли объявлению незнакомец этот пожалует к ней, никого к себе не пускающей и решившейся у нас на него посмотреть?.. Конечно, пусть приходит! Жалко, что сам на него не может взглянуть. За нас – что мы одни останемся с совершенно неизвестным человеком – он спокоен: Виола в куски его разорвет в случае чего. Собака, услышав свое имя, лизнула ему руку и повалилась на спину, подставляя брюхо – почесать. Удивительно: все понимает.

В назначенный день Эмеренц походила на человека, который скрывает свое помешательство, обуздывая себя железной рукой. Да и пес, всегда чутко улавливавший общее настроение, был сам не свой. Старуха первым делом принялась таскать к нам на подносе, прикрытом салфеткой, всевозможные блюда и тарелки. Я, вскипев, ее отругала: если такая уж тайна этот банкет, зачем по улице все это носить? Не проказой же они с этим гостем больны, почему нашими тарелками и вилками не воспользоваться? Вон буфет, берите, что нужно, хоть матери моей серебро, праздничный сервиз. Думаете, жалко мне? Эмеренц промолчала, не поблагодарив; заметила только, что никогда ничего не забывает – ни плохого, ни хорошего – и не таится вовсе, не о том речь. Просто хочет, чтоб увидели: она не одна, а в семье; зачем еще посвящать в то, что дверь не открывает, вообще объяснять, почему живет так, как живет.

И принялась накрывать на стол в комнате моей матери. Эмеренц и сервировать умела бесподобно. Принесла салат, холодное мясо, и момент показался мне подходящим, чтобы высказать одно соображение; я давно уже внутренне к этому готовилась. Почему бы ей не обсудить с каким-нибудь специалистом этот болезненный симптом, эту свою привычку запираться, которую все-таки никак нельзя нормой счесть. Уж наверно, можно бы излечиться от этой ее заторможенности – или как там еще это называется на медицинском, врачебном языке. Не приходила ей мысль обратиться к врачу?

– К врачу? – подняла на меня глаза Эмеренц, перетирая фужеры на длинных ножках, которые приберегались у нас для самых торжественных случаев. – А зачем? Я не больна. Живу, как привыкла, кому от этого вред? А врачей терпеть не могу, вы же знаете. И не надо ко мне приставать, не люблю, когда меня учат. Я попросила – вы согласились, а поучения эти уж оставьте, пожалуйста, при себе, иначе зачем и соглашаться.

Я повернулась и ушла, включив в спальне проигрыватель, чтобы не видеть ничего и не слышать. Предстоящий приход этого ее посетителя мне что-то разонравился. Совсем ведь ненормальная, раньше или позже обязательно втравит нас в какую-нибудь историю. Неизвестно, что еще за человек; не будь собаки, впору бы всерьез поостеречься. И шампанское это – что за камуфляж?.. Я и сама-то секретов не любила, а тут изволь еще чужие блюсти.

От Эмеренц отделяли меня целых две комнаты, да и музыка заглушала все звуки. Я попробовала читать и одолела уже страниц пятьдесят, когда вдруг засомневалась: Эмеренц вроде бы выражала желание нас познакомить; но где же он, ее посетитель?.. И что они там делают в такой тишине?.. И Виола молчит. Может, вообще не пришел?.. Час, наверно, прошел из отведенного для визита времени, как вдруг послышался лай. «Ага, – подумала я, – правильно, что холодное блюдо приготовила, а не горячее; очень практично, не придется разогревать», – и продолжала слушать пластинку. Но ворвался пес, принявшись беспокойно кружить и приплясывать, явно желая что-то объяснить. Это уж совсем было странно: если гость почему-то собаки боится, Эмеренц могла бы ее на кухню, в переднюю прогнать; что у них там такое, чему собака может помешать?.. Но вошла сама Эмеренц, и все выяснилось. По лицу ее ничего нельзя было прочесть: Эмеренц умела помалкивать почище глухонемых. И прилегшую ко мне на козетку Виолу она будто не замечала. Наконец сообщила, что ожидавшийся посетитель не придет; мастер-умелец прибегал сказать, что из гостиницы, где был приготовлен номер, позвонили, прося передать: свидание не состоится, в последнюю минуту задержали дела и приезд в Будапешт откладывается; когда визит снова встанет в порядок дня, ее заранее известят.

У меня сплошь и рядом из-за чьей-нибудь неявки переносились официальные встречи, и я не нашла в случившемся ничего особенно трагического, если не считать того, что Эмеренц зря поиздержалась. Но сама она, принеся это известие, вихрем вылетела из комнаты и, с грохотом захлопнув дверь, с такой яростью прикрикнула в прихожей на своего проскользнувшего туда четвероногого любимца, что я даже вскочила посмотреть: причем собака-то?.. Кажется, ничего плохого не сделала. Звон посуды, град проклятий, поток площадной брани несся из комнаты, где был накрыт стол; никогда еще я не слышала из уст Эмеренц подобной ругани. В испуге приоткрыла дверь – и замерла на пороге. Не Виолу она честила, другому кому-то предназначалась эта брань. Пес сидел в кресле моей матери перед придвинутым к нему блюдом и ел, жадно хватал с него нарезанное мясо. Лапа его упиралась в поднос из зеркального муранского стекла, который я и по самым большим праздникам не доставала. Время от времени пес ронял на него куски, подбирал, оставляя жирные следы, и серебряный канделябр, водруженный на поднос, угрожающе раскачивался. В жизни я еще так не свирепела.

– Вон отсюда, Виола! Прочь из-за стола! Что вы тут вытворяете, Эмеренц? Это матери моей фарфор!.. Муранское стекло!.. С ума, что ли, сошли?

Ни до ни после, вплоть до последней своей минуты Эмеренц ни разу не плакала, а тут разрыдалась. Я совсем растерялась. Собака в критические минуты никогда мне не повиновалась, пока Эмеренц не повторит запрещения, и теперь тоже преспокойно продолжала поглощать свой ужин. А Эмеренц рыдала, стоя по другую сторону стола. Пес нет-нет да и поглядывал на нее в знак участия, но не мог противостоять искушению, оторваться от лакомого блюда. Не пропали даром уроки Эмеренц, ничего не скажешь: он и за столом научился себя вести, тоже впору хоть выступать. Сидит и ест, почти как человек, кладя то одну, то другую лапу перед собой, только что не когтями отправляя мясо в пасть. Зрелище до того нелепое и возмутительное, что я не находила слов. Собственная моя собака забралась в комнату моей матери и угощается себе, усевшись за накрытый праздничный стол; никакого внимания на запреты – и одним глазом уже косясь на высящийся поодаль торт: словно примеряясь, как бы и до него добраться!.. А Эмеренц безутешно, безостановочно рыдает. Изрядно, конечно, пришлось потратиться: даже по остаткам видно, с каким почетом готовились здесь встретить неявившегося гостя.

Я чувствовала, как нарастает во мне готовое уже прорваться возмущение, но Эмеренц провела вдруг тыльной стороной ладони по глазам, отирая полукружья ресниц, и резко, без перехода, точно очнувшись, огрела беззаботно пирующую собаку по затылку ручкой большой вилки – и давай ее этой вилкой охаживать, обзывая по-всякому: и неблагодарной изменницей, и подлой вруньей, и бессовестной буржуйкой. Воя, пес спрыгнул с кресла и растянулся на ковре, безропотно покорясь неизвестно за что постигнувшей его каре. Если била Эмеренц, он никогда не пытался удрать или защититься. Творилось что-то ужасное, невероятное, такое может только присниться. Ежась и содрогаясь под ударами, пес от страха вывалил последний, непроглоченный кусок на любимый ковер матери. Я думала, Эмеренц заколет в конце концов Виолу этой вилкой, так она ею махала. Чего я не перечувствовала в эти минуты – и до того испугалась, что завизжала. Но тут Эмеренц, присев возле собаки на корточки и приподняв ее голову, стала целовать между ушей. Та, заскулив, лизнула только что избивавшую ее руку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.